

Михаил ЗАГОСКИН

# АСКОЛЬДОВА МОГИЛА



Серия исторических романов

Михаил Загоскин  
**Аскольдова могила**

«ВЕЧЕ»

1833

## **Загоскин М. Н.**

Аскольдова могила / М. Н. Загоскин — «ВЕЧЕ»,  
1833 — (Серия исторических романов)

От берегов Черного моря, называемого в то время Русским, до крайних пределов обширной области Новгородской признавали все своим владыкою великого князя Киевского. С ужасом взирала Греция на царя Владимира Святославича, который, подражая во всем отцу своему, не хотел последовать примеру матери и принять веру христианскую. Роман Михаила Загоскина, чей талант ценили даже такие мастера, как Александр Пушкин, Вальтер Скотт и Проспер Мериме, оживляет то былинное время, когда земля Русская, не озаренная еще светом православия, приносила кровавые жертвы Перуну, когда озера ревели, как дикие звери, на крышах домов вили гнезда не аисты, а вороны, и всем казалось, что мир спит на краю пропасти. Труден был путь к свету, но князь-язычник его прошел.

© Загоскин М. Н., 1833

© ВЕЧЕ, 1833

# Содержание

Об авторе	5
Аскольдова могила	7
Часть первая	8
I	8
II	16
III	21
IV	27
V	36
VI	42
Конец ознакомительного фрагмента.	47

# Михаил Загоскин

## Аскольдова могила

### Об авторе

Русский писатель и драматург Михаил Николаевич Загоскин родился 14 (25) июля 1789 года в селе Рамзай Пензенской губернии (совр. Мокшанский р-н Пензенской обл.). Детство будущего писателя прошло в дворянской усадьбе. Он уже в одиннадцать лет обнаружил влечение к литературному творчеству, но его первые произведения не дошли до нас. В 1802 году Михаил отправляется в Петербург, где попеременно служит в канцелярии государственного казначея, в Сенате, Государственном ассигнационном банке, Департаменте горных и соляных дел. В августе 1812 года юноша вступает в Петербургское ополчение и принимает участие в Отечественной войне. Загоскин был ранен под Полоцком и награжден за участие в боевых действиях орденом Святой Анны IV степени. После войны вернулся в свое родовое имение. Подлечившись, отправился в Петербург, где снова служил в упомянутом департаменте, потом – в Императорской публичной библиотеке и дирекции петербургских театров.

В 1815 году состоялся его литературный дебют: на столичной сцене были поставлены комедии «Проказник» и «Комедия против комедии, или Урок волокитам». В дальнейшем получили популярность у столичных театралов его комедии «Богатонов, или Провинциал в столице» (1817), «Деревенский философ» (1823) и др. С 1817 года модный драматург берется за издание журнала «Северный наблюдатель». В 1820 году Михаил Николаевич переезжает в Москву, где получает место в управлении московских театров.

В 1829 году выходит из печати самое известное произведение Загоскина – роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Эта книга пользовалась огромным успехом среди читающей публики и была высоко оценена отечественной критикой, в том числе и А.С. Пушкиным. В романе чувствуется влияние В. Скотта, особенно при изображении национального колорита, русского быта и нравов старины. Однако «Юрия Милославского» вряд ли следует считать настоящим историческим романом, прежде всего – из-за одностороннего изображения известных исторических деятелей и показа идеализированных отношений простонародья с боярами. В.Г. Белинский считал это сочинение только первым шагом на пути создания русского исторического романа. К сожалению, М.Н. Загоскин не пошел по этому пути. Много споров и противоречивых мнений вызвал его следующий роман «Рославлев, или Русские в 1812 году». А.С. Пушкин даже начал писать своеобразный «антироман»: своего «Рославлева». Еще не стихла художественная полемика по «Рославлеву», как вышел новый роман Загоскина «Аскольдова могила» (1833), сохранившийся в памяти потомков благодаря одноименной опере А.Н. Верстовского (1835) на сюжет романа.

В 1833 году М.Н. Загоскина избирают действительным членом Российской академии, а в 1837 году назначают директором московских императорских театров. В 1842 году писатель занимает почетный пост директора Оружейной палаты в Кремле. Одновременно продолжает работать в жанре исторического романа, но поздние произведения писателя были далеки по своим художественным достоинствам от «Юрия Милославского» и не вызвали большого читательского интереса. М.Н. Загоскин успел еще выпустить сборник бытовых очерков «Москва и москвичи» (1842–1850), дающий яркую картину жизни московского общества в середине XIX века. Умер писатель в Москве 23 июня (5 июля) 1852 года. В истории отечественной литературы Михаил Загоскин остался прежде всего автором очень успешного «Юрия Милославского» и спорного «Рославлева», который тем не менее был самым попу-

лярным романом о войне 1812 года до появления «Войны и мира». Исторические произведения Михаила Николаевича Загоскина и в наши дни вызывают большой интерес у читателей.

*А. Москвин*

## Аскольдова могила

Может быть, многим из читателей моих не понравится фанатический характер и буйные речи одного из действующих лиц сего романа, которое, под именем неизвестного, появляется в первой главе: в таком случае я покорнейше прошу их, не произнося решительного приговора, читать до конца мою повесть или, если это требование покажется им слишком нескромным, прочесть, по крайней мере, 7-ю главу второго тома.

Я не смею предполагать, чтобы кто-нибудь из моих читателей не знал отечественной истории, но, легко быть может, не всякий помнит, что говорят летописцы о Владимире, когда он был еще язычником; а посему не излишним полагаю приложить здесь, на всякий случай, две выписки: одну из «Истории государства Российского» Карамзина, а другую из «Житий святых», собранных знаменитым нашим чудотворцем и святителем Дмитрием Ростовским.

«Быв в язычестве мстителем, свирепым, гнусным, сластолюбцем, воином кровожадным и, что всего ужаснее, братоубийцею, Владимир, наставленный в человеколюбивых правилах христианства, боялся уже проливать кровь своих злодеев и врагов отечества» (Истор[ия] госуд[арства] российск[ого]). Том I, стр. 231).

«И живяще он (Владимир) прескверно, в идолопоклонническом заблуждении сущи. О сем же житии Владимировом, бывшем в неведении Бога и в нечестии, о братоубийстве и кровопролитиях, о храбрости и многих бранях, о богослужительствах и женонеистовствах пишется пространно в летописце святого Нестора Печерского и в иных многих рукописных летописаниях Российских и в печатном Синописе Печерском» («Жития святых», месяц июль).

## Часть первая

### I

Раскройтесь предо мной, картины времен давно прошедших: явись во всей красе своей, изгибаясь по крутым берегам привольного Днепра, древняя столица царства Русского – великий Киев, первопрестольный град! Бушуй, крутись, быстрый Днепр, и отражай в голубых волнах своих золотые верхи высоких теремов и гридниц двора княжеского; расстилайтесь по обширному Подолу<sup>1</sup> киевскому, бархатные луга – любимое разгулье удалой дружины князя русского! Жадный взор мой стремится проникнуть сквозь седой туман веков, до тех отдаленных времен России, когда, не озаренная еще светом православия, она приносила кровавые жертвы своему Перуну<sup>2</sup>; когда в дремучих лесах ее перекликались лешие и раздавался хохот хитрых русалок; когда в бурные осенние ночи, на вершине Кучинской горы, собирались колдуны, оборотни и злые ведьмы или, купаясь в утреннем тумане, резвились меж собой вертлявые кикиморы, и грозный Бука<sup>3</sup>, на сивом коне своем, носился по лесам и долам, преклонял высокий бор до сырой земли и притаптывал луга заповедные. Я хочу послушать песни вещих соловьев Владимира – вдохновенных баянов древности, хочу взглянуть на веселые хороводы русских дев, пляшущих под тенью дубов или при свете пылающих огней в праздник Купалы<sup>4</sup> – древнего божества дубрав и полей русских; хочу полюбоваться удалыми потехами и посмотреть на игрушки богатырские славянских витязей.

Пусть называют мой рассказ баснею: там, где безмолвствует история, где вымысел сливается с истиною, довольно одного предания для того, кто не ищет славы дееписателя, а желает только забавлять русских рассказами о древнем их отечестве.

Давно уже свирепые печенеги<sup>5</sup> не дерзали приближаться к границам русским; покоренные ятвяги<sup>6</sup> мирились; мятежные радимичи<sup>7</sup>, побитые на голову воеводою княжеским, прозванным Волчий Хвост, платили снова обычную дань, и от берегов Черного моря, называемого в то время Русским, до крайних пределов обширной области Новгородской почти все пространство земли, заключающее в себе нынешнюю Европейскую Россию, признавало своим владыкою великого князя Киевского. С ужасом взирала отдаленная Греция на сего ставро-скифского царя<sup>8</sup>, который, подражая во всем отцу своему, Святославу, не хотел последовать примеру матери его, благочестивой княгини Ольги, и принять веру христианскую.

Немногие христиане, рассеянные по России, хотя не были гонимы за их вероисповедание, но, окруженные повсюду идолопоклонниками, повинувшись языческому князю, властолюбивому, не знающему пределов своему могуществу, они должны были беспрестанно опасаться участи их единоверцев, пострадавших в первые годы христианства. Владимир

---

<sup>1</sup> Подол – низменная часть Киева, в которой жили преимущественно торговые люди.

<sup>2</sup> Перун – в славянской мифологии бог грома и молнии, снега и дождя, отождествляемый с Юпитером, в православии – с Ильей Пророком. В Киеве на перуновом холме стоял изображавший Перуна деревянный истукан с серебряною головою и золотыми усами.

<sup>3</sup> Бука – в древнеславянской мифологии ночное страшилище, подобное римской ламии.

<sup>4</sup> Купала – олицетворение языческого праздника, связанного с летним солнцеворотом.

<sup>5</sup> Печенеги – так называли объединение тюркских и сарматских племен в заволжских и южнорусских степях.

<sup>6</sup> Ятвяги – древнелитовское племя, жившее между реками Неман и Нарев.

<sup>7</sup> Радимичи – восточнославянские племена, жившие в междуречье верховьев Днепра и Десны. Ок. 885 г. – в составе Древнерусского государства.

<sup>8</sup> Греческие летописцы, а в особенности Лев Диакон, называют русских – старо-скифами. (Здесь и далее примеч. авт.)

не походил на Нерона<sup>9</sup>, но он мог сделаться Диоклетианом<sup>10</sup>. Сооружение нового капища<sup>11</sup> Перуну, богатое изваяние истукана этого первенствующего божества древних славян, частые жертвы, ему приносимые, – все доказывало привязанность великого князя к вере его предков. Он мог пожелать истребить последние остатки православия в своем государстве; мог ли пожелать и не исполнить своего желания тот, кто некогда, для удовлетворения необузданной страсти, предав смерти владетеля земли Полоцкой, Рогвольда и двух сыновей его, силою женился на их сестре, Рогнеде<sup>12</sup>, и, умертвив потом своего родного брата, Ярополка<sup>13</sup>, взял в число наложниц своих вдовствующую его супругу? Кто мог тогда предвидеть, что сей грозный князь, облитый кровью своих ближних, будет некогда просветителем народа русского, образцом кротости, смирения, христианской любви и, причтенный к лику святых, станет рядом с апостолами и учениками Спасителя нашего? Впрочем, сами христиане не могли не видеть, что, сделавшись самодержавным и единственным владыкою царства Русского, Владимир перестал злодействовать. Он был еще бичом небесным для народов иноплеменных; но любил свой собственный народ, любил в судах правду, любил своих русских витязей, и хотя гордые варяги, составлявшие некогда его отборную дружину, притесняли иногда простолюдинов, хотя Владимир ласкал еще этих наемных воинов, известных в других землях под общим названием норманнов, но они не смогли уже поступать с русскими, как с побежденным народом, и нередко варяг, обличенный в буйстве и насилии, наказывался наравне с простым воином киевским. Но могли ли надеяться христиане, что тот, кто проводил время в пирах и забавах и, подобно сластолюбивому Соломону<sup>14</sup>, имел до восьмисот наложниц, оставит в покое людей, коих вера, основанная на чистоте нравов, исповедующая кротость и целомудрие, была безмолвным, но красноречивым обличителем его буйных потех и увеселений? Несмотря на это, не только одни язычники, но даже многие из христиан любили Владимира. Его величественный вид, неустранимость в битвах, царское хлебосольство и роскошь, знаменитые победы – одним словом, все пленяло умы россиян. Слава царя всегда становится собственностью его народа, а могущественный Владимир был славнейшим государем своего времени; и когда киевляне, толпясь на площади вокруг Перунова капища, слышали веселые крики бояр и витязей, пирующих в светлых гридницах двора княжеского, когда кому-нибудь удавалось сквозь узкие окна завидеть часть длинных дубовых столов, покрытых яствами, и рассмотреть окованный серебром турий рог, который с шипучим медом или зеленым вином переходил из рук в руки, то он кричал с радостью: «Братцы, братцы, посмотрите, как пирует со своею удалою дружиной наш великий князь, Владимир Святославович! Вон, видите ль, стоит подле него широкоплечий боярин? Это славный новгородский воевода Добрыня! А вон сидит понасупившись, словно туча громовая, удача-молодец, Рогдай!» И народ с шумом начинал тесниться вокруг двора княжеского, и тысячи голосов повторяли: «Да здравствует государь великий князь! Веселись и пируй, наш батюшка, солнце красное всей святой Руси!»

<sup>9</sup> Нерон Клавдий Цезарь (37–68) – римский император с 54 г., жестокий тиран. С именем Нерона связано первое массовое гонение на христиан, обвиненных в поджоге Рима.

<sup>10</sup> Диоклетиан (243 – между 315–316) – римский император с 284 по 305 г.; основоположник новой имперской религии, он объявил императоров богами, а себя сыном Юпитера. Жестокими административными мерами пытался подавить христианское движение.

<sup>11</sup> Капище – у восточных и прибалтийских славян языческий храм, место нахождения капов – идолов.

<sup>12</sup> Рогнеда (?–1000) – дочь полоцкого князя Рогвольда, убитого Владимиром, который затем женился на Рогнеде (ок. 979 г.).

<sup>13</sup> Ярополк I (? – 980) – князь Киевский (с 972 г.).

<sup>14</sup> Соломон – царь Израильско-Иудейского царства (965–928 до н. э.), сын Давида, славился необычайной мудростью. Добивался централизации религиозного культа. Ему приписывается авторство «Екклизиаста», «Притчей Соломоновых» и «Песни песней».

В один из прекрасных весенних вечеров южной России, когда солнце, опускаясь медленно к земле и не застилаемое ни одним облачком, утопает в золотом и огнистом океане; когда поселянин, возвращаясь домой с работы, весело поглядывает на ясные небеса и говорит своим товарищам: «Ну, ребята, Бог дает нам ведро! Посмотрите, как заря погорела!» – в один из сих благословенных вечеров, тихих, но исполненных какой-то юности и жизни, человек десять рыбаков сидели кругом яркого огня, разведенного на берегу реки, близ урочища нагорной стороны Днепра, называемого Сборичев взвоз. Седой, но, по-видимому, еще бодрый старик заглядывал беспрестанно в большой котел, в котором варилась жирная уха, и от времени до времени отведывал из него деревянным ложкой. Два рыбака разбирали и считали пойманную рыбу, а остальные, лежа беспечно вокруг огня, разговаривали меж собою.

– Что это, ребята? – сказал один из этих последних. – Вот близко десяти дней, как нашего великого князя видом не видать, слухом не слышать? Уж здоров ли наш батюшка? Бывало, не пройдет двух дней без пировастья, а теперь, посмотрите-ка: и в новых его палатах, и в каменном тереме ни одного огонька не видно!

– Не все пировать, дитятко, – сказал старый рыбак, – и княжеские яства приедаются, и сладкий мед припивается!.. Да и нельзя же каждый день быть под хмельком; ведь дело его княжеское: надо рядить, судить, давать всем расправу. Тут варяг ограбил русина; там, глядишь, наш брат киевлянин...

– Что, чай, обидели варяга? – прервал кто-то насмешливым и грубым голосом. Рыбаки поглядели вокруг себя: на берегу никого не было; но в пяти шагах от них, у самой пристани, стоял в легком челноке, облокотясь на весло, колоссального роста мужчина, лет сорока пяти, с окладистой русою бородою. Он был без кафтана, в одной пестрой рубашке, подпоясанной черным с медными бляхами ремнем, за которым заткнуты были широкий, с серебряною рукояткою, засапожник<sup>15</sup> и стальной кистень; у ног его лежало верхнее платье из грубой шерстяной ткани.

– Ах, леший его побери, – сказал один из рыбаков, – как он подкрался!

– Что тебе надобно, молодец? – спросил старик.

– Ничего, дедушка! – отвечал незнакомец. – Я здесь пристал к берегу, чтоб поотдохнуть немного. Да что ж вы, ребята, замолчали? – продолжал он. – Не бойтесь: я не варяг, не витязь княжеский: не стану вас подслушивать да придираяться к вашим речам.

– Пожалуй себе подслушивай! – сказал старик, посматривая недоверчиво на незнакомца. – Мы люди простые, так какие у нас речи? Кой о чем меж собой растабарываем.

– В самом деле? А мне сдается, дедушка, что у вас речь шла о Владимире.

– О каком Владимире? Владимиров много на святой Руси! – прервал старик.

– О каком Владимире? Вестимо о каком! Ведь он один у вас, как порох в глазу.

– Если ты говоришь о нашем государе, молодец, так его не зовут просто Владимир, а величают великим князем Киевским.

– Киевским! – повторил сквозь зубы незнакомец. – Киевским! Отца его величали когда-то и царем Болгарским, а недолго же он царствовал. Слыхал ли ты, старинушка, пословицу: чужое добро впрок нейдет?

– И, молодец, где нам знать твои пословицы: мы люди темные. Да и что нам за дело, что было в старину! Живи только да здравствуй наш батюшка, великий князь, наше красное солнышко...

– Хорошо солнышко, – прервал незнакомец, – летом печет, а зимой не греет.

Рыбаки, молча и почти с ужасом, поглядели на незнакомца, который стоял, по-прежнему облокотясь небрежно на весло, и, казалось, не замечал удивления этих простых людей, не понимающих, как можно говорить с такою дерзостью о великом князе Владимире.

<sup>15</sup> Род кинжала.

– Эх, молодец, молодец! – сказал старик, покачивая головою. – Чести твоей мы не порочим. Бог весть, кто ты такой, а не пристало ни тебе говорить такие речи, ни нам их слушать.

– А почему же нет? – сказал спокойно незнакомец. – Не прикажешь ли хвалить Владимира и за то, что он накликнул сюда этих иноземцев, от которых нашему брату русину и житья нет? Подумаешь, как бы, кажется, этим бездомным пришлецам не быть тише воды, ниже травы; а попытайся-ка повздорить с каким-нибудь варягом...

– Так что же, – подхватил один молодой рыбак, – или мне с ними и суда не дадут?

– Дожидайся, брат! Нет, ребята, не нам обижать этих поморян: они того и норовят, чтобы с нас последнюю одежонку стащить. Мы, дескать, великокняжеская дружина, так все, что его, то наше.

– Как бы не так! – подхватил один молодой рыбак. – Не прежнее время: наш батюшка великий князь унял порядок этих заморских буянов! Кто и говорит: бывало, при них и тони не закидываем – как раз всю лучшую рыбу по себе разберут. А теперь небось не только простой мечник, а даже гридня или отрок княжеский попытайся-ка у меня взять даром хоть эту плотву!.. Нет, любезный, и не понюхает!

Незнакомец не отвечал ни слова и, помолчав несколько минут, сказал:

– Посмотрите, ребята: кто это там сходит с горы?.. Пойдите-ка!.. Никак, один из них, – вот что повыше других и в панцире... ну, так и есть, – варяг!.. Да и другие-то, кажется, витязи княжеские... Они идут сюда.

– Сюда? – вскричал торопливо молодой рыбак. – Ей, ребята, проворней оттащите этого осетра в лодку... да помогите мне припрятать куда-нибудь стерлядей!.. Ну, что же вы, братцы, поворачивайтесь!..

Все рыбаки засуетились вокруг пойманной рыбы.

– Добро, не хлопчите, – сказал с насмешливою улыбкою незнакомец, – они повертели направо. Да что же вы так переполошились, ребята? Ведь теперь, по милости вашего князя, не только простые витязи варяжские, но и ближние его отроки не смеют вас обижать.

– Оно так, молодец! – отвечал старик, глядя вслед за небольшою толпою ратных людей, которые, сошедши до половины горы, повернули по тропинке, ведущей к обширному Подолу киевскому. – Оно так, и мы доподлинно знаем, что ратным людям заказано обижать народ и брать у нас даром то, что им приглянется: да знаешь, молодец, все как будто бы вернее, – приберешь к сторонке, так не на что и глазам разгореться.

– Ах вы глупые головы! – сказал незнакомец. – Что уж это за житье, коли надо прятать свое добро, что б его не отняли!.. Да этак и с печенегами уживешься. Нет, ребяташки, не так живали наши отцы в Киеве, при законных своих князьях: Аскольде<sup>16</sup> и Дире<sup>17</sup>. Попытался бы тогда какой-нибудь чужеземец обидеть киевлянина.

– А что, молодец, – спросил один из рыбаков, – и впрямь, чай, в старину-то лучше бывало?

– Не знаешь, так спроси у стариков. Что, дедушка, покачиваешь головою? – продолжал незнакомец, обращаясь к старому рыбаку. – Вестимо, отцы наши жили не по-нынешнему: довольство-то какое во всем было, житье-то какое привольное! Коли ты сам не видал этих времен, так, верно, слыхал о них от отца и матери?

– Слыхать-то и мы слыхали, – прервал один рыбак, почесывая в голове. – Недаром поется в песнях, что в старину и реки текли сытою, и берега были кисельные. Да ведь это давно уже было, а что прошло, того не воротишь.

---

<sup>16</sup> Аскольд (?—882) – древнерусский князь, по преданию, правил (вместе с Диром) в Киеве. В 866 г. осаждал Царьград. Убит князем Олегом.

<sup>17</sup> Дир (?—882) – полулегендарный князь Киевский. Соправитель Аскольда. Убит князем Олегом.

– Бывало, – продолжал незнакомец, – наш брат киевлянин знал лишь князей своих и боялся одного всемогущего Перуна, а теперь и богов-то у вас много, и господ не перечесть.

– Что правда, то правда, – прервал один детина с рыжею окладистою бородой. – Господ-то развелось у нас немало: и вирники<sup>18</sup> и тиуны<sup>19</sup>, а уж пуше всех эти метальники<sup>20</sup>, провал бы их взял, – больно обижают нашего брата. Вот в прошлом месяце на меня наложили ставить для княжеского стола полтора сорока стерлядей. Я все честно принес к дворцовому метальнику, да позабыл только ему, проклятому, стерлядкой-другой поклониться... Так что же? Он при мне нарезал шесть зарубок на бирке, расколол, отдал одну половину мне. Кажись, дело бы в шапке, – так нет! Дня через три шлют опять за мною: «Давай еще полсорока стерлядей: за тобой недоимка!» Как так? «Да так!» Я за пазуху, вынул бирку: на ней все метки сполна; метальник приложил к ней свою половину: смотрю – двух зарубок нет как нет! Я туда, сюда – не тут-то было! Рыбу с меня доправили да мне же затылок наkostenяли.

– Так что же ты, глупая голова? – прервал незнакомец. – Ты бы ударил челом на этого метальника вашему красному солнышку, великому князю Владимиру!

– Попытался было, молодец, да доступ-то до него не легок. Ведь наш брат не кто другой: сунешься невпопад, так и животу не будешь рад, того и гляди, – продолжал рыбак, наморща брови и похватывая себя за спину, – какой-нибудь гридня или разбойник-варяг так тебя пугнет, что ты и ног не уплетешь.

– Экий ты, братец, какой! – подхватил незнакомец. – Коли не знаешь, так я тебя научу, как дойти до великого князя. Послушай-ка, молодец, женат ли ты?

– Как же! Вот уж другая весна идет.

– И жена твоя молода?

– Всего семнадцатый годок.

– А пригожа ли она собою?

– Пригожа ли?! – повторил с гордым видом рыбак. – Пригожа ли! Да таких молодич, как моя, во всем Киеве немного, господин честной! Порасспроси-ка у товарищей: белолицая, румяная – кровь с молоком! Глаза, как цветы лазоревые, шея лебединая, а выступка-то какая, выступка – что и говорить: идет, как плывет – пава павою!

– Эх, детина, детина, о чем же ты думаешь? Пошли ее заместо себя к вашему князю: так, может быть, она-то сама домой не вернется, да зато стерлядей тебе назад отдадут. Что же ты, любезный, в голове-то почесываешь; иль боишься, чтобы с тобой не было того же, что с покойным братом вашего государя? Да не бойся, молодец: ведь у тебя всего-навсе одна жена, а у покойника-то, князя Ярополка, и невеста была красавица, и вся земля Русская была его; так, вестимо дело, с ним добром нельзя было разделаться: пожалуй, он стал бы отнекиваться, на драку бы пошел. Вот у нашего брата, простолюдина, иная речь: взял жену иль невесту да вытолкал в шею с княжеского двора, так и концы в воду.

Глубокий вздох, похожий на удушливое стенание умирающего, когда в минуту нестерпимой боли каждое дыхание его превращается в болезненный вопль, прервал слова незнакомца. Рыбаки молча взглянули друг на друга, и сострадательные их взоры остановились на одном молодом человеке, который, не принимая никакого участия в общем разговоре, сидел задумавшись близ огня. На полумертвых и впалых щеках его, в неподвижных глазах,

<sup>18</sup> *Вирниками* назывались тогдашнего времени полицейские чиновники, кои впоследствии известны были под именем *зубных старост*.

<sup>19</sup> *Тиуны*, по мнению издателей «Русской Правды», были то же самое, что у древних германцев судьи по уездам.

<sup>20</sup> *Метальники* – то же, что впоследствии дьяки: они исполняли также должность нынешних казначеев и принимали вносимые в княжескую казну подати. Вместо нынешних квитанций употреблялись тогда бирки, то есть небольшие палочки, на которых прямые и крестообразные зарубки заменяли нынешние цифры. Обыкновенно, по сделанным на ней известному числу зарубок, она раскалывалась на всю длину надвое: одна половина оставалась у приемщика, другая у отдатчика. Первая служила приемщику вместо записной тетради, другая заменяла для отдатчика квитанцию или расписку в получении от него денег или вещей.

на посиневших устах, в каждой черте лица, изможденного бедствием, изображалась глубокая, неизъяснимая горесть. И грубый варяг, и хитрый грек, и полудикий житель лесов древлянских – каждый прочел бы в них с первого взгляда и повторил бы на собственном языке своем ужасные слова: «Я утратил невозвратно все земное мое счастье!» Ах, этот всемирный язык души, эти речи без звуков, начертанные кровавыми буквами на бледном челе несчастливца, понятны для всякого!

– Эх, брат Дулеб! – сказал один из рыбаков. – Да полно грустить! Мало ли в Киеве красных девушек – не та, так другая! Твоя Любаша приглянулась великому князю; что ж делать, брат: воля его княжеская – не ты первый, не ты последний!

– Так ваш Владимир, – прервал незнакомец, – и у этого бедняка отнял жену?

– Не жену, а невесту, – отвечал вполголоса рыбак, поглядывая с сожалением на Дулеба. – Сама виновата: бывало, лишь только великий князь выйдет на улицу, так все ее подружки, словно дождь, кто куда попало, а Любаша тут как тут. Уж я ей говаривал: «Ей, Любашенька, не суйся на глаза к великому князю, – девка ты пригожая, личмённая – как раз попадешь на житье в Берестово!»<sup>21</sup> Так нет, куда те, бывало, и слушать не хочет! «Я, дескать, моего Дулебушку ни на какого князя не променяю». И рада бы не менять, да променяешь. Глупая, ведь выше лба уши не растут! Чай, станут тебя спрашивать!.. Ну что ж? Ан и вышло по-моему. За два дня до свадьбы, где Любаша, – и след простыл!.. Мы с Дулебом взыскались ее по всему Киеву, обегали все улицы; по домекам завернули на княжеский двор, да лишь только Дулеб вымолвил за чем, как вдруг конюшие, ясельничие, сокольники, гридни, отроки, варяги, русины – ну вся эта княжеская челядь, словно стая голодных псов, так на него и ошетибилась, да ну-ка его в толчки: не дали парню образумиться. Только один княжеский чашник, видно, подобрее других, глядя на его горькие слезы, сжалился и шепнул ему, что Любашу отвезли на Лыбедь, в село Предиславино, затем что в Берестово уже места нет для красавиц. Вот с тех пор бедняжка Дулеб и ну чахнуть, – совсем извелся! Недаром говорят, что с радости кудри вьются, а с кручины секутся. Подумаешь, детина-то был какой ражий да весельчак какой: и попеть, и поплясать, и в дудочку поиграть – на все удача! Бывало, как распотешится, так щеки жаром горят, а теперь... посмотри-ка: кровинки в лице не осталось. А уж исхудал-то как, исхудал!.. Сердечный, в чем душа держится!

– Знаешь ли что, старик? – сказал незнакомец, помолчав несколько времени и обращаясь к седому старику. – От этих рассказов и мне охота пришла повеличать вашего государя. Ну-ка, братцы, хватим разом: да здравствует наш батюшка, великий князь, наше красное солнышко!.. Что же вы молчите, ребята!.. Пристань хоть ты, Дулеб! Что, в самом деле, чего же нам еще? Когда у нашего брата взять нечего, так люди ратные ничего у нас даром не отнимают; метальники берут с нас только вдвое, челобитчиков с княжеского двора провожают с честью, и сам государь великий князь жалует своею княжескою милостию наших жен и невест. Да разве это не житье, ребята? На что гневить богов: и хуже бывало, когда печенеги громили нашу родину. Правда, в старину ни о печенегах, ни о метальниках, ни о варягах и речи не было, суд давали по правде, невест и жен ни у кого не отнимали, – да ведь тогда и народ-то был другой. Вот если б отцы наши и деды встали из могил!.. – продолжал незнакомец, и насмешливая улыбка исчезла с уст его, глаза заблистали, а мощный голос, как из громовой тучи, зарокотал над головами рыбаков. – Да, – повторил он, – если б наши деды и отцы встали из могил, и я сказал бы им: «Граждане киевские, очнитесь, пробудись, народ русский! Не пора ли тебе за ум взяться? Ну-ка, детушки, гоните из Киева разбойников-варягов; мечите в Днепр ваших грабителей; топите всю эту гурьбу мироедов, которые питались кровью вашею, под сенью враждебного для вас поколения злодеев Рюрика<sup>22</sup> и Олега<sup>23</sup> Люди

---

<sup>21</sup> Село, в котором был один из любимых потешных дворов Владимира.

<sup>22</sup> Рюрик – согласно летописи вождь варягов, призванный вместе с братьями Синеусом и Трувором княжить в Новго-

русские, не прекратился еще род Аскольдов, не погибло племя прежних князей ваших! Боги сохранили для вашего блага одного из их потомков. Да княжит он над великим Киевом, да держит свое княжение честно, без обиды, по старине, как держали, убитые изменою и предательством, его дедичи – знаменитые князья Аскольд и Дир!..» Ну, ребята, как вы думаете, что сказали бы на это наши старики?

Незнакомец замолчал, потух дивный огонь, который сверкал в грозных его взорах; он облокотился снова на весло и, окинув спокойным взором всех рыбаков, повторил свой вопрос. Никто не отвечал ни слова. Как безоружный путешественник, который, один среди дремучего леса, попадает внезапно на стаю голодных волков; как молодая девушка которая, спеша на голос своего друга и обманутая ауканьем хитрого лешего, вдруг встречает перед собою это страшилище лесов русских; как бесприютное дитя, которое видит в руке злой ведьмы сверкающий нож и, очарованное адским ее взглядом, спешит к ней навстречу, – так точно все рыбаки, онемев от испуга, не смея пошевелиться, едва переводя дух, слушали с жадностью и трепетом возмутительные слова этого ужасного незнакомца.

Казалось, один Дулеб не слышал и не видел ничего: он не подымал головы, глаза его ни разу не встретились с глазами незнакомца; но легкий румянец играл на бледных щеках его, грудь волновалась, а из полуоткрытых уст вырывался какой-то невнятный ропот.

– Дедушка, а дедушка! – промолвил наконец один молодой парень, дернув за рукав седого рыбака. – Что это он говорит?

– Что он говорит? – повторил старик, как будто бы пробудясь от сна. – Ух, батюшки, что это? Как этот кудесник нас обморочил! Не слушайте, ребята, этого зловещего ворона! Ах ты печенег проклятый! Да как у тебя язык повернулся говорить такие речи о нашем батюшке? Иль ты думаешь, что для твоей буйной головы и плахи во всем Киеве не найдется?

– Как не найтись! – отвечал спокойно незнакомец. – Протяни лишь только шею, а за этим у вашего батюшки, великого князя, дело не станет. Да о чем ты, старинушка, так развопился? Ведь я стал бы это говорить не вам, а вашим отцам и дедам. С людьми и говорят по-людски, а с баранами что за речи: стриги их, да дери с них шкуру – на то родились.

– Что ж ты, в самом деле! – вскричал один из рыбаков. – Уж ты, брат, никак, и нас стал поругивать.

– Убирайся-ка, покуда цел, – сказал старик. – А не то мы тебе руки назад, да отведем к городскому вирнику, так у него запоешь другим голосом. Экий разбойник, в самом деле, – видишь с чем подъехал!

– Порочить нашего государя! – вскричал один рыбак.

– Говорить такие речи о нашем отце, Владимире Святославиче, – подхватил другой.

– Глупое стадо! – пробормотал незнакомец, принимаясь за весло.

– Постой, молодец! – вскричал Дулеб, вскочив поспешно с своего места. – Возьми меня с собою.

– Что ты, что ты, дитятко, – прервал старый рыбак, – в уме ли ты?

– Он довезет меня до Подола, – продолжил Дулеб, подходя к пристани.

– Изволь, молодец, довезу, куда хочешь; хоть до села Предиславина!

– Вспомни, Дулеб, – сказал тихим, но строгим голосом седой рыбак, – тому ли тебя учили? То ли ты обещал, когда был вместе со мною... не в Перуновом капище, не там, где льется кровь богопротивных жертв...

– Ах, старик, – вскричал Дулеб, – что ты мне напомнил!

Он остановился и закрыл руками глаза свои.

---

роде. Основатель династии Рюриковичей.

<sup>23</sup> Олег (? – 912) – князь Новгородский (879–882), затем первый князь Киевской Руси. В 907 г. совершил поход в Византию, в 911 г. заключил с ней договор.

– Ну что ж ты? – сказал незнакомец. – Садись, что ль!

– Нет! – прошептал тихим голосом Дулеб. – Он велел любить и злодеев своих; он дает, он и отнимает, – да будет его святая воля! Ступай! Я не еду с тобою.

Незнакомец взглянул с удивлением на Дулеба, опустил весло, и легкий челн его запорхал по синим волнам Днепра.

– О ком это он говорит? – спросил один из рыбаков, глядя на Дулеба, который сел на прежнее место.

– Вестимо о ком, – отвечал другой рыбак, – о нашем великом князе! Кто ж, кроме его, и дает, и отнимает? Ведь он один в нас волен.

– А злодеев-то своих любить он также приказывает?

– Как же! Разве нам не велено жить в любви и совести с варягами, а что они – други, что ль, наши?

– А что, парень, – прервал детина с рыжею бороною, – ведь этот долговязый себе на уме! И впрямь житье-то наше незавидное. Эх, кабы воля, да воля! Что бы нам хоть одного проклятого метальника покупать в Днепре?

– А там добрались бы и до всех, – прервал старик, – и злых и добрых – топи всех сряду. Нет, ребятушки, как у нашего брата руки расходятся, так и воля будет хуже неволи.

– Да за что ж, дедушка, в старину-то нас никто не обижал?

– Право? Да вы, никак, в самом деле поверили этому краснобаю? Эх, детушки! Я два века изжил, так лучше поверьте мне, старику. Бывало и худо и хорошо, что грех таить: и при бабушке нашего государя, премудрой Ольге, злые господа народ обижали, и при сыне ее, Святославе Игоревиче. Коли без того! Ведь одному за всеми не усмотреть. Кто говорит? И при нашем батюшке, великом князе, подчас бывает со всячинкою. Да что ж делать, ребятушки? Видно, уж свет на том стоит!

– Да о каком он все толковал Аскольде, дедушка?

– Неужели не знаешь? Ну вот что похоронен там... близ места Угорского, над самую рекою.

– А кто он был таков?

– Прах его знает! Так, какой-нибудь ледащий<sup>24</sup> князишка. Чай, в его время ленивый не обижал Киева. То ли дело теперь, и подумать-то никто не смеет. Вот недавно завозились было ятвяги да радимичи: много взяли! Лишь только наш удалой князь брови нахмурил, так они места не нашли. Что тут говорить! – продолжал старик с возрастающим жаром. – Да бывал ли на Руси когда-нибудь такой могучий государь; да летал ли когда по поднебесью такой ясный сокол, как наш батюшка Владимир Святославич?..

– Правда, правда! – закричали почти все рыбаки.

– А как выйдет наш кормилец, – промолвил один из них, – на борзом коне своем, впереди своих удалых витязей – что за молодец такой! Так, глядя на него, сердце и запрыгает от радости.

– Да как сердцу и не радоваться, – подхватил другой, – ведь он наш родной, ему честь – нам честь!

– Эх, ребята, – вскричал третий, – напрасно мы не связали этого разбойника! Леший его знает, кто он таков: уж не ятвяги ли его подослали?

– Да, парень, – прервал молодой рыбак – хватился!.. Поди-ка догоняй его; смотри: чуть видно... Эх он начал сажать – словно птица летит!.. Вон, выехал уже в Пачайну<sup>25</sup>...

---

<sup>24</sup> Ледащий – тщедушный, слабый.

<sup>25</sup> Речка, впадающая в Днепр.

– Пусть идет куда хочет, – сказал старик, – лишь только бы к нам не заезжал. А вот и уха сварилась, – продолжал он, отведывая из котла деревянную ложку. – О, да знатная какая!.. Ну что ж, детушки, в кружок! Поужинаем засветло, а там и за работу.

Все рыбаки, выключая Дулеба, уселись кругом котла.

– А ты что, Дулебушка? – спросил старик. – Присядь к нам да похлебай ущицы. Эх, дитятко, полно! Горе горем, а еда едою. Садись!

Вместо ответа Дулеб покачал печально головою и остался на прежнем месте.

– Зачахнет он совсем, – сказал вполголоса старик. – Легко ль, сердечный, не пьет, не ест...

– Небось, дедушка, – прервал молодой рыбак, подвигаясь к котлу, – проголодается, так станет есть, ведь голод-то – не тетка. Ну те-ка, ребята, принимайтесь за ложки! Авось, смотря на нас, и его разберет охота!

## II

Теремный двор, в котором Владимир любил угощать своих витязей, стоял в его время на самом видном месте древнего Киева, близ нынешней Андреевской церкви, сооруженной на развалинах каменного терема, из коего, по сказаниям летописца, великая княгиня Ольга смотрела на торжественный въезд послов древлянских, помышляя о кровавой тризне, уготовляемой ею в память убиенного ее супруга<sup>26</sup>. Тут же, перед самым теремным двором, стояло капище Перуна, на холме, на коем впоследствии сооружена была церковь Святого Василия, а ныне возвышается храм во имя Трех Святителей.

В то самое время, как рыбаки, утолив голод, принялись снова толковать и шуметь меж собою, вверху, над их головами, глубокая тишина царствовала кругом дворца княжеского. Молчали гусли златострунные, и не раздавался веселый звук братин и кубков, которыми чокались храбрые витязи, выпивая их одним духом за здоровье удалого князя Владимира; но в некотором расстоянии от дворца народ шумел еще по улицам великого Киева. Поселяне и жители посадов киевских, собравшись отдельными толпами, пели песни на обоих берегах Днепра; на песчаных косах и отмелях пылали яркие огни; кой-где мелькали по воде, как блуждающие звезды, небольшие огоньки, разведенные на лодках рыбаков, которые собирались багрить сонных осетров и белуг. На городском Подоле, тогда еще не заселенном, близ божницы Велесовой<sup>27</sup> резвились молодые горожанки; они то свертывались в шумные хоры, то заплетали плетень, и громкие их припевы Диду<sup>28</sup> и Ладе<sup>29</sup> разносились по окрестности.

Несколько молодых киевлян, между коих можно было тотчас заметить, по гордой осанке, варяжских воинов и гридней княжеских, стояли небольшою толпою поодаль от хоры и любовались на игры красных девушек. Шагах в пятидесяти от сей толпы, под самым навесом притвора Велесова капища, стоял, прислонясь к стене, гигантского роста мужчина, закутанный в широкую, темного цвета, верхнюю одежду, похожую несколько на греческую мантию. Он не смотрел на хоры веселых девиц, не слушал их песен; казалось, все внимание его было устремлено на один отдаленный предмет: он пристально глядел на поросшую частым кустарником гору, которая опускалась с одной стороны пологим скатом к киев-

---

<sup>26</sup> ...помышляя о кровавой тризне, уготовляемой ею в память убиенного ее супруга. – Речь идет о княгине Ольге (?— 969), жене киевского князя Игоря, жестоко подавившей восстание древлян, убивших ее мужа. Правила в малолетство сына Святослава и во время его походов. Около 957 г. приняла христианство.

<sup>27</sup> Велес (Волос) – древнеславянское языческое божество – покровитель домашнего скота. После принятия христианства роль покровителя скота была перенесена на св. Власия.

<sup>28</sup> Дид (Дед) – одно из обозначений Перуна.

<sup>29</sup> Лада – славянская богиня юности, любви и плодородия, покровительница браков.

скому Подолу, а с другой – нависла утесом над песчаным берегом Днепра. На самом верху сей горы белелось четвероугольное, с двумя красивыми теремами, здание, обнесенное толстым и высоким тыном. Эта гора называлась впоследствии Кучинскою; в этом доме жил Богомил, верховный жрец Перунова капища.

– Да что ж мы, братцы, стоим здесь, разиня рот, – сказал один из молодых людей, которые продолжали смотреть издали на игры девушек, – кто нам заказал подойти поближе?

– В самом деле, Стемид говорит правду, – подхватил высокий, но неуклюжий воин в остроконечном шеломе и стальном нагруднике, – подойдемте поближе!

– Нет, молодцы, не трогайте наших девушек, – прервал степенного вида киевский гражданин, приподняв вежливо свою шапку, – вы их распугаете.

– Распугаем? – повторил грубым голосом воин. – Ах ты неразумный сын! Что мы, печенеги, что ль, чего нас бояться киевским красавицам?

– Кто и говорит, государь милостивый, – продолжал гражданин, – вы господа честные, витязи великокняжеские, да не пригоже нашим сестрам и дочерям водиться с людьми ратными.

– А с кем же?.. Чай, с вашей братией, торгашами киевскими?

– Да не во гневе будь сказано твоей милости, – раздался позади воина веселый голос, – с торгашами-то киевскими водиться прибыльнее, чем с вами, господа храбрые витязи! Недаром сложена песенка:

Ой ты, гой еси, богатый гость!  
Ты богатый гость, сын купеческий:  
Не красив, не пригож ты, мой батюшка,  
А красивы, а пригожи твои денежки.

Варяг обернулся: подле него стоял человек лет тридцати, в простом смуром<sup>30</sup> кафтане. Он был роста небольшого, но огромная голова его напоминала древнюю повесть о сильном и могучем Полкане-богатыре<sup>31</sup>, у которого, по словам предания, буйная головушка была с пивной котел. Красные и раздутые его щеки, небольшие прищуренные глаза, рот, который почти соединял оба уха, круглый, вздернутый кверху нос, и вдобавок какая-то простосердечная и в то же время лукавая улыбка, от которой нос кривился в одну сторону, а рот в другую, – все это вместе составляло такую смешную и странную физиономию, что варяг, захотав во все горло, вскричал:

– Стемид, Простень, посмотрите-ка: что это за чудо морское?

– Э, да я знаю этого красавца, – сказал Стемид, – это Торопка Голован. Зачем сюда пожаловал, молодец? Уж не хочешь ли отбивать у меня красных девушек?

– Где нам тягаться с вашею милостью! – отвечал приземистый детина. – Ты стремянный великокняжеский, собой молодец, а мы что?.. Правда, если и у тебя в кармане-то не побрякивает, – продолжал он, скривя свой рот, – так немного же и ты возьмешь, боярин!

– Ах ты огородное пугало! – вскричал один осанистый и толстый купец. – Да что ж ты этак порочишь наших девушек? Разве они товар какой? Ну, что зубы-то оскалил? Да если б твою дурацкую образину вылить всю из чистого золота и осыпать самоцветными камнями, так они и тогда бы взглянуть на тебя не захотели.

---

<sup>30</sup> Смурый (кафтан) – темно-серый, домотканый.

<sup>31</sup> Полкан-богатырь – полконь, богатырь-кентавр, один из героев русского сказочного и былинного эпоса.

– Ну, пусть на него, – подхватил видный собою юноша, в котором по богатой одежде нетрудно было узнать одного из гридней княжеских<sup>32</sup>, – да неужли-то и нашему брату не очень нельзя с ними речи повести?

– Их дело непривычное, господин честной, – отвечал купец, – как подойдет, так они все до одной разбегутся.

– Да что ж они такие неповадливые? – прервал воин. – Ну, сторонка, – продолжал он, обращаясь к Стемиду, – Нет, на моей родине не только девушки, да и жены молодые не походят на ваших пугливых киевлянок. У нас по всему поморью только и житья что ратным людям. Клянусь Оденем<sup>33</sup>, бывало, ни одна красавица не повстречается с молодым Фрелафом без того, чтоб не взглянуть на него умильно или не промолвить слова ласкового!

– Рассказывай нам сказки-то, – подхватил улыбаясь гридня. – Вам хорошо, варягам, похвалиться: издалека пришли. Ну, что ты, Фрелаф, расхвастался, в самом деле! Послушай-ка, брат: случилось ли тебе когда-нибудь в тихую погоду припадать лицом к реке, чтоб напитаться водицы?

– Как не случаться?

– Так вспомни-ка хорошенько: чай, всякий раз тебе казалось, что сам дедушка водяной выглядывает на тебя из омута. Ну с твоим ли красным носом да рыжими усами пригляднуться молодой девушке!

– Так что ж: разве надобно витязю походить на девчонку, как товарищу твоему, Всеславу?

– Всеславу?.. Да, Фрелаф, он покрасивее тебя и помоложе, а попытайся-ка с ним схватиться! Всеслав и не этаких молодцов, как ты, за пояс затыкал.

– Как, что б этому мальчишке неудалому досталось...

– Так, видно, брат Фрелаф, ты не видал, как на последней игрушке богатырской, перед княжеским теремом, он сбил с поля Яна Ушмовца и смучил совсем удалого витязя Рохдая?

– Неужели в самом деле?

– Как же! Да с той-то самой поры он и попал в любимые отроки нашего великого князя.

– Да что Всеслав, в Киеве, что ль? – спросил гридня. – Вот уж дней десять я его не видал.

– И я также, – прибавил варяг.

– А я хоть и видел, – сказал Стемид, – да не узнаю, Вы помните, какой он был весельчак, а теперь как в воду опущенный: все о чем-то думает. Кручина, что ль, какая на сердце пала, не знаю. Подумаешь, так о чем ему тосковать, великий князь его жалует, отца и матери у него нет, ни роду, ни племени – так, кажется, о ком бы у него и сердцу болеть?

– Да откуда же взялся этот безродный и как попал в княжеские отроки? – спросил варяг.

– Родом-то он, кажется, из Великого Новгорода, – сказал гридня, – а кто был его отец, об этом никто из нас не слыхивал.

– Так, видно, он какой-нибудь подкидыш, – сказал с презрением варяг. – Может статься, отец-то его был где-нибудь бродягой или разбойником, так не диво, что сынок пошел по батюшке: чай, тоскует теперь о том, что живет не на своей воле: в лес хочется.

– Слушай, Фрелаф, – вскричал с досадою Стемид, – не глумись над тем, кто тебя лучше! Всеслав – отрок княжеский, а ты что?.. Простой мечник.

– Да зато не русин, а варяг, – прервал с гордостью Фрелаф, – и знаю моего отца: он княжеского рода.

---

<sup>32</sup> Гридни – отроки княжеские – то же, что телохранители и оруженосцы.

<sup>33</sup> Оден (Один) – верховный бог в скандинавской мифологии.

– Да, да, – подхватил с улыбкою гридня, – вы все варяги – князья, только княжить-то вам негде. Но не о том дело!.. Не знаю, как вы, а я мыслю так: Всеслав недаром стал таким нелюдимым. Знаете что? Уж не принял ли он веры греческой? Я слышал, будто бы кого эти чародеи-христиане оболъстят, так тот хоть живой в могилу ложись. Все наши потехи молодецкие, и песни, и пляски, и красные девушки, и всякое житейское веселье не взмилится. Говорят, покойный батюшка нашего князя был гроза грозою на этих колдунов, а все их много осталось. Эх, не в меру милостив наш государь великий князь! И если в самом деле эти злые люди прельстили любимого его отрока...

– Вот то-то и дело, что нет, – сказал Стемид. – Я сначала то же думал, да он поклялся мне Перуном, что ненавидит христиан, и рассказывал мне, что слышал от верховного жреца, Богомила, с которым он часто беседует, такие речи об этих проклятых кудесниках, что волосы у него становятся дыбом, когда он повстречается с христианином. Богомил сказывал ему, что они собираются по ночам, близ Аскольдовой могилы, на развалины бывшего их храма, который построил при княгине Ольге какой-то боярин Ольм, а после приказал разорить князь Святослав Игоревич; что у них тут происходят такие богомерзкие дела, что даже киевские ведьмы близко к тому месту не подходят; что они едят малых детей, пьют кровь человеческую, поклоняются каким-то расписным доскам и, вместо того что б чтить всемогущего Перуна, Световида<sup>34</sup>, Ладу или хоть варяжского Одена, молятся злему Чернобогу<sup>35</sup> и просят его извести нашего отца, великого князя Владимира. А вы знаете, братцы, как любит его Всеслав: так даст ли он себя прельстить этим злодеям.

– Отчего же он так переменялся? – спросил гридня.

– Допытаться не мог, а заметил только одно, что несколько дней сряду он каждое утро выезжает чем свет из Киева и возвращается не прежде полуден. Мне он говорит, что будто объезжает Сокола – своего вороного коня. Но зачем же он ездит всегда один и не берет даже с собою слуги своего? Да добро, уж я же его подстерегу!

– Тс, тише, тише, братцы! – сказал варяг. – Вон, кажется, девушки собрались в кружок: верно, какая-нибудь красавица хочет спеть песенку. Послушаем...

Фрелаф не ошибся: все затихло в шумном хороводе, и одна из девушек запела звонким и приятным голосом:

Не весенний ветерок  
С полуден подул,  
Не былиночка, сиротиночка  
В поле зашаталася, —  
Заревели ветры буйные,  
Закачался темный бор,  
И все гости поднебесные,  
Сизокрылые орлы,  
По глубоким дебрям прятались,  
И все мелки пташечки  
По кусточкам притаилися.  
Одна только пташечка,  
Сиротина горлинка,  
Без приюту оставалася:  
Она ждала, поджидала  
Своего сизого голубочка.

---

<sup>34</sup> Световид – бог света, у славян свет и солнце воспринимались раздельно.

<sup>35</sup> Чернобог – славяне считали его злым богом тьмы, обитающим в подземном мире.

У окошечка, у косящего  
Красна девица сидит,  
Поджидая друга милого  
Из далекой стороны,  
В слезах поет, рыдаючи:  
«О, ветер, ветер-государь!  
Тебе мало ли высоких гор  
Под облаками дуть,  
Или не стало тебе моря синего  
Разыгратья, распотешиться?  
Не бушуй ты во чистом поле,  
Не мути широкий Днепр,  
Не мешай ты другу милому  
На свою родную сторонушку  
Воротиться поскорей».

– Ай да соловьиное горлышко! – сказал большеголовый детина. – Ну, знатно пропела!.. Да и песенка сложена хитро.

– Клянусь Геллою<sup>36</sup>, – вскричал варяг, – эта певица стоит Фрелафова поцелуя, и во что бы ни стало я ее поцелую.

– А если она чья-нибудь невеста? – прервал Стемид.

– Так что ж?

– И жених ее здесь?

– Тем лучше: я при нем ее поцелую.

– А если он детина плечистый и не любит, чтоб его невесту целовали?

– Не любит! А мне какое до этого дело?

– Полно хвастать, Фрелаф! – подхватил гридня. – Ты только боек на словах, а как дойдет дело до кулаков, так первый за куст спрячешься.

– Кто? Я?! – вскричал Фрелаф. – Я, природный варяг, побоюсь ваших русских кулаков? Так ступайте же за мною: я вам покажу, как у нас за морем целуют красных девушек!

Фрелаф расправил свои огромные усы, понадвинул на глаза стальной шлем и выступил вперед.

Стемид, гридня и несколько других молодых воинов пошли вместе с ним. Девушка, пропевшая песню, сидела на траве посреди своих подруг. Увидя приближающуюся толпу ратных людей, она поспешно вскочила; хоровод расстроился, и все ее подруги, как дождь, рассыпались по лугу.

– Нехорошо, господа честные, нехорошо! – кричали граждане киевские, идя вслед за воинами. – Не трогайте наших девушек!

Но молодые люди, не слушая их криков, стали их ловить, а Фрелаф пустился догонять певицу, которая побежала прямо к Велесову капищу.

– Ага, попалась певунья! – закричал варяг, схватив ее за руку. – Да небось, голубушка, ведь я не медведь, не съем тебя.

– Пусти меня, пусти! – кричала девушка, стараясь освободиться из рук варяга.

– Нет, прежде поцелуй, красавица!.. Да полно рваться! Я сказал, что тебя поцелую, – и вертись себе как хочешь, а я поставлю на своем.

---

<sup>36</sup> Гелла (*греч.*) – дочь Афаманта и Нефелы. По мифу, во время бегства от злой мачехи упала со златорунного барана в воды пролива, получившего ее имя – Геллеспонт (море Геллы – название Дарданелл в древности).

– Посмотрим! – загремел грубый голос у самых дверей Велесова храма, и мужчина колоссального роста в два прыжка очутился подле варяга. – Оставь эту девушку, – продолжал незнакомец, – или я, несмотря на твою железную шапку, размозжу тебе голову.

– Кому? Мне? – сказал Фрелаф, схватясь правой рукой за рукоятку своего меча и продолжая держать в левой руку пойманной им девушки. – Да кто ты сам таков, что б смел указывать и грозить варяжскому витязю Фрелафу?

– Я тебе говорю,пусти ее! – повторил незнакомец, подняв руку.

– Ого, ты хочешь драться! – закричал варяг, отступя шаг назад и выхватив из ножен свой меч. – Постой, поганый русин, я с тобой переделаюсь!

Быстрее молнии опустился тяжелый кулак незнакомца, и меч выпал из онемевшей руки варяга. Девушка, освободясь из рук его, побежала к своим подругам, которые снова собрались в кучу и, окруженные киевскими гражданами, шли прямо к городу. Фрелаф нагнулся, чтоб поднять свой меч, но, оглушенный новым ударом, почти без памяти упал на землю.

– Что, молодец, – сказал насмешливо незнакомец, – каково целуются русские красавицы? Да что ж ты лежишь?.. Вставай!.. Ага, храбрый витязь, видно, смекнул: знаешь, что на Руси лежачих не бьют! Да добро, так и быть, я тебя и стоячего не трону – вставай.

Фрелаф с трудом приподнялся на ноги.

– Теперь ступай к своим товарищам, – продолжал незнакомец, – да скажи им, чтоб они вперед не обижали наших девушек.

Но варяг не очнулся еще от последнего удара и, устремив на незнакомца свои одурелые и неподвижные глаза, стоял, как вкопанный, на одном месте.

– Ну, что ж ты, витязь Фрелаф, – сказал, помолчав несколько времени, незнакомец, – или у тебя язык и ноги отнялись? То-то же! Видно, еще, брат, никогда не отвеживал русского кулака? Ах вы грабители, грабители! Нашли кого обижать, буяны! Да чего и ждать от шайки разбойников, у которой атаманом убийца родного своего брата.

– Товарищи, товарищи, сюда! – заревел Фрелаф, бросившись бежать от незнакомца.

– Ей ты, могучий богатырь, – закричал вслед ему незнакомец, – постой, подыми свой булатный меч: неравно наткнешься на какую-нибудь посадскую бабу, так было бы чем оборониться!

Но варяг бежал не оглядываясь; товарищи его были уже далеко: они отправились вслед за девушками в город и не могли ни слышать его голоса, ни поспеть к нему на помощь.

Незнакомец завернулся снова в верхнюю свою одежду, сел на одной из ступеней Велесова капища и устремил по-прежнему внимательный взор на вершину Кучинской горы.

### III

Прошло более часу. Последний свет от догорающей зари становился все бледнее и бледнее; тени сгущались, прозрачные облака темнели, и безлунная ночь, расстилая по небесам свою звездную мантию, медленно опускалась над засыпающими волнами Днепра. Вот затихло все в окрестности, и от времени до времени глубокая тишина прерывала отдаленный гул и глухой, невнятный говор многолюдного города. Огни потухали один после другого; вот замолкли веселые песни, затих шум по улицам, – все покрылось темнотою... Вдруг на вершине Кучинской горы, в одном из теремов белого здания, замелькал слабый огонек.

– А, вот и условленный знак! – сказал незнакомый, вставая. – Кажется... да, так точно, в третьем окне полуденного терема.

В близком расстоянии раздался шелест от шагов поспешно идущего человека; он шел прямо к божнице Велесовой, распевая вполголоса:

Как во стольном городе во Киеве,

Что у ласкова князя Владимира,  
А и было пируваньє, почестный пир,  
А и было столованьє, почестный стол...

– Это ты, Тороп? – спросил незнакомец, сделав несколько шагов навстречу к певцу, который, сняв вежливо шапку, поклонился ему в пояс и сказал:

– Да, боярин, это я.

– И ты поешь эту проклятую песню, и ты величаешь Владимира?!

– Не погневайся, боярин: из песни слова не выкинешь, а в Киеве только и песня, что о князе Владимире. Вот вечер я перенял еще песенку, которую сложил Соловей Будимирович, любимый певец великокняжеский. Ах, боярин, что за песня! Послушай-ка!..

Светел, светел месяц во полуночи,  
Ясно солнышко во весенний день;  
А светлее чиста месяца,  
А яснее красна солнышка  
Наш великий князь...

– Молчи! – закричал с нетерпением незнакомец. – Разве ты для того живешь в Киеве, чтоб перенимать глупые песни.

– Не гневайся, боярин; песни песнями, а дело делом! Тебя дожидается Богомил.

– Он дожидается меня, – повторил незнакомец, – и быть может, для того, чтобы выдать голову своему великому князю... Но погоди, старая лисица, ты не перехитришь меня, и если б только мне удалось... Тороп, добился ли ты наконец толку: узнал ли ты, у кого из гридней или отроков Владимировых нет ни роду, ни племени?

– У кого! Да они почти все безродные: у одного отец и мать за морем, у другого в Великом Новгороде. Ведь при лице княжеском и десяти витязей не начтешь из здешних природных киевлян.

– Итак, ты до сих пор ничего не умел проведать?

– Да давно ли, боярин, я живу в Киеве? Давно ли приказал ты мне идти в услужение к этому Богомилу, который сам ест за десятерых, а домочадцев своих морит голодом? Недаром про него сложена песенка:

А и тучен наш верховный жрец,  
А и тощи его слуги верные;  
Уж как примется, наш батюшка,  
Он глотать по целому быку...

– Мне некогда слушать твоих песен! – прервал с досадою незнакомец. – И если б ты поменьше пел, а побольше думал о том, что тебе приказано, так, может статься, давно бы уж не жил у Богомила. Я знаю, что тот, кого мы ищем, служит при Владимире; Богомилу известна эта тайна; да от этого хитрого кудесника и сам владыка его, Чернобог, не добьется правды. Ты говоришь, что почти у всех отроков Владимировых нет ни роду, ни племени? Пусть так, но они знают своих отцов и матерей! А нет ли из них такого, который не знает не только отца и матери, но даже своей родины и которому не более двадцати двух лет от роду?

– Да вот сегодня, боярин, перед закатом солнечным, я подслушал, как здесь на Подоле шла речь у княжеских витязей о каком-то Всеславе, и один усатый варяг, потешаясь над ним, называл его безродным. Они говорили, что он каждый день чем свет выезжает из Киева на своем вороном коне, а зачем и куда – никто из них не знает. Погоди, боярин, я не проронил

этих речей, и может статься... Да что об этом говорить, утро вечера мудренее! А теперь не пора ли тебе к Богомилу? Ведь он давно уже дожидается.

– Пойдем! – сказал незнакомец. – Посмотрим, что скажет мне этот премудрый бездушник!

Они не прошли десяти шагов, как вдруг Тороп остановился и, поднимая что-то с земли, сказал:

– Что это? Боярин, боярин, посмотри-ка мою находку! Меч... да еще, кажется, не простой!..

– Брось его! – сказал незнакомец. – Ты человек не ратный, а он и тебе руки замазает...

– И, что ты, боярин: он чистехонек, – за что бросать! – продолжал Тороп, затыкая за пояс свою находку. Может статься, он солида четыре стоит<sup>37</sup>, а прошу не погневаться, боярин, по милости твоей у меня и полшляга за душой не осталось: все проел дочиста, чтоб не умереть с голоду, с тех пор как живу у этого скряги Богомила.

Незнакомец не отвечал ни слова и продолжал идти молча к тому месту, где начиналась пробитая в гору, почти по отвесной линии, крутая тропинка. Она служила кратчайшим путем для тех, кои не хотели идти широкою и покойною дорогою, которая, изгибаясь по крутому скату и опоясывая несколько раз всю полуденную сторону Кучинской горы, вела на самую ее вершину.

Покрытые соломою низенькие лачужки для сторожей, клетки, построенные на высоких столбах, и обширные огороды, которые, начинаясь с середины Подола, тянулись до самой подошвы Кучинской горы, были некогда единственным предместьем северо-восточной стороны древнего Киева. Наблюдая глубокое молчание, незнакомый и провожатый его вошли в один из бесчисленных закоулков, кои составляли заборы и плетни, отделявшие один огород от другого. Все было тихо кругом. Ночные сторожа дремали у дверей своих избушек, и только изредка кое-где вскрикивал кузнечик и от времени до времени прохладный весенний ветерок шептал в густых листьях кудрявой рябины или ветвистой черемухи.

– Боярин! – сказал Тороп, прервав наконец продолжительное молчание. – Хоть и не пристало бы мне первому заводить с тобою речь, но не погневайся, если я спрошу тебя: ради чего ты живешь таким отшельником? Когда мы были еще на чужой стороне, ты больно тосковал тогда о святой Руси; да и не диво: хвалисский город<sup>38</sup> Атель, в котором мы жили, в пригороде Киеву не годится, а об хвалисах, узах, печенеггах и говорить нечего: народ поганый, хуже, чем эта чужь белоглазая и мещера долгополая. Помнишь ли, боярин, бывало, как затыкну песенку:

Уж как тошно, тошно ясну соколу  
С корщунами жить... —

так у тебя слезы на глазах навернутся. Ну вот, по милости богов, мы опять на своей родине, и уж годов пяток, побольше, как ушли с тобою из земли печенежской, а что толку-то? Ты забился в лес, живешь в лачужке, как медведь в берлоге! Да этак все равно, если б ты и вовсе у печенегов остался; леса там не хуже здешних, а Волга-то почище нашего киевского Днепра: как расходится, матушка, так словно море Хвалиское, есть где поразгуляться, – не сядешь на мель, не наткнешься, как у нас, на пороги. Нет, боярин, воля твоя, а житье твое не житье! Э, знаешь ли что? Ведь я еще тебе об этом не сказывал: ты здесь не один живешь в лесу – я недавно набрел на хижину старого дровосека. Предобрый человек! Я заплутался и устал до смерти, а он не спросил даже, кто я, а накормил и напоил как родного.

---

<sup>37</sup> Солид – греческая золотая монета тогдашнего времени величиною с червонец; шляг – мелкая серебряная монета.

<sup>38</sup> ...хвалисский город... – город на Хвалиском море – древнерусское название Каспия.

Я заходил к нему еще раза два; и в последний раз близко часу проболтал с его дочерью... Ну уж девушка! Сродясь таких не видывал! Как подумаешь, что такая красавица живет почти одна-одинехонька в дремучем лесу! Эх, сиротинка, сиротинка горемычная! Другие песенки попевают, играют в хороводах, колядуют, венки заплетают да женихов высматривают, а она, сердечная, словно горлинка одинокая, и свету божьего не видит! Только и отрады-то, что пойдет иногда побродить по лесу да послушать, как птички поют. Она говорит, что любит мои сказки; не диво: что ей, голубушке, от скуки-то делать, с кем словечко перемолвить? Отец ее часто уходит в Киев, так сидеть все одной, от раннего утра до поздних сумерок, ведь этак и одурь возьмет, – день-деньской за веретеном... Э, чуть было не забыл: она просила меня купить ей веретено поузорчатее. Купить-то я купил, да когда удастся к ней отнести? Что, боярин, завтра я тебе не надобен? Ась? Что?.. Да ты меня не слушаешь? – промолвил болтливый Тороп, заметив наконец, что господин его говорит вполголоса с самим собою и не обращает никакого внимания на его слова.

– Боярин, боярин!..

– Ну что?.. – спросил незнакомый с рассеянным видом. – О каком ты говоришь веретене?

– А вот об этом, – сказал Тороп, вынимая из-за пазухи раскрашенное яркими красками деревянное веретено. – Я купил его для дочери дровосека, о котором сейчас тебе рассказывал, и если ты дозволишь... Пстой, пстой, боярин!.. Нишкни-ка... – продолжал вполголоса Тороп, указывая пальцем на угол дощатого забора, на котором отразился слабый свет. – Что это?.. Никак, сюда идут с огнем.

– В самом деле! – отвечал незнакомый. – Я слышу шорох... да, точно! Сюда идут.

Яркий свет блеснул из-за угла забора, и шагах в тридцати от них показались двое рослых мужчин, поспешно идущих. Один из них нес в руке зажженный факел, от которого свет, отражаясь на стальном шлеме его товарища, вполне освещал его красный нос и огромные рыжие усы.

– Спрячемся, боярин, – шепнул с приметною робостью Тороп. – Это ратные люди, а один-то из них, вот тот, что идет с огнем, кажется, Стемид – ближний стремянный великого князя.

– А какое мне до этого дело? – прервал незнакомый. – Разве дорога проложена для одних стремянных княжеских?

– Эх, боярин, тебе какое дело, да меня-то он знает: так ладно ли будет, если он станет рассказывать, что слуга верховного жреца таскается по ночам неведомо с какими людьми? Спрячемся хоть в этом пустом шалаше; они мигом пройдут.

Незнакомый, хотя с приметным неудовольствием, но послушался Торопа и вошел вместе с ним в небольшой плетневый балаган, прислоненный к самому забору.

Через полминуты проходящие поравнялись с шалашом. Тороп не ошибся: один из них был точно Стемид, а в товарище его, неуклюжем воине с рыжими усами и красным носом, вероятно, читатели наши узнали уже варяжского мечника Фрелафа.

– Стой, – вскричал Стемид, прошедши мимо шалаша, – я нейду далее!

– И, полно, – сказал варяг, – пойдем, уж недалеко осталось!

– Да куда же ты меня тащишь? Послушай, Фрелаф, уж не издеваешься ли ты надо мною?

– Что ты, Стемид!.. Клянусь тебе Оденом...

– Добро, не клянись, а шути над тем, кто тебя глупее!

– Да разве я не говорил тебе, что мы, как верные слуги княжеские, должны сослужить ему службу?

– Да, ты говорил мне это, когда поймал меня у самого теремного двора, заставил взять этот светоч и потащил вместе с собою; но я хочу знать, о чем идет дело, и без этого не тронусь с места.

– Ну так слушай же, Стемид: здесь, на Подоле, у самого храма вашего бога Белеса, скрываются враги великого князя.

– Как так?

– Да так. Помнишь, как я погнался за девушкой, которая так хорошо пела в хороводе?.. Ну, вот я настиг ее у самой божницы, стал целовать, и, надобно сказать правду, она не больно отбивалась. Вдруг, откуда ни возьмись, пребольшой мужчина, да и ну позорить, и добро б меня, а то нашего великого князя; я припугнул его порядком, а меж тем побежал за вами, что б вы помогли мне связать его, и ты попался мне первый. Ну, теперь куда и зачем ты идешь со мной?

– Куда – знаю, а зачем – не ведаю.

– Как не ведаешь? Вестимо зачем, чтоб схватить этого разбойника.

– Да неужели ты думаешь, что он станет там дожидаться до тех пор, пока за ним придут и скрутят руки назад?.. Я чаю, уж теперь давным-давно и след его простыл.

– А почему знать?

– Нет, Фрелаф, я устал и не хочу всю ночь бродить по-пустому! Прощай!

– Эх, братец, стой! Ну, если нам не удастся поймать этого злодея, так авось отыщем мой меч.

– Твой меч?

– Ну да! Вот видишь: как этот разбойник стал позорить нашего князя, так у меня вся кровь закипела в жилах! Ты знаешь, Стемид, я детина добрый, а уж если расхожусь...

– Знаю, братец, знаю!

– Говорить непригожие речи о нашем великом князе! И при ком же?.. При молодце Фрелафе! Веришь ли, Стемид, меня взяло такое зло, что я земли под собой не почую!

– Верю, верю!

– Выхватил меч, да как махнул со всего плеча могуча!.. Ну, счастлив, разбойник! Кабы я не обмишулился, так раскроил бы его надвое!

– А ты промахнулся?

– Промахнулся, братец, и вместо головы этого шального хватил по камню. Батюшки мои, как посыплется искры!..

– Эге! – прервал Стемид. – То-то нас всех и осветило, а уж мы думали, думали, что за диковинка такая?..

– Камень разлетелся вдребезги... – продолжал варяг, нимало не смущаясь.

– Один осколок, – прервал снова Стемид, – попал в голову городскому вирнику, который на ту пору обходил киевские улицы.

– Эх, братец, ты настоящий гуслиар! Тебе бы все глумиться да скоморошничать. Я говорю дело. Вот, как ни крепко я держал в руке меч, а он вылетел.

– Зачем же ты его не поднял?

– Зачем! Затем, что я боялся упустить этого злодея и побежал скорей за вами.

– Так вот какую службу я должен сослужить великому князю: помочь тебе отыскать твой меч! Нет, Фрелаф, поберегу мой живот до поры до времени, а эта служба мне не под силу. Прощай!

– Стой, братец! Да сделай отеческую милость, дойди вместе со мною.

– Кой прах, Фрелаф, уж не боишься ли ты идти один?

– Кто? Я боюсь? Что ты, братец! Да давай на одного меня днем полсотни молодцев – усом не поведу! Но теперь дело ночное: кто знает, что случится? Может статься, их там много: зайдут с тыла, наткнешься на засаду... мало ли ратных хитростей? Тут храбрость не

поможет; вдвоем то ли дело: стали спинами друг к другу, да и катай на все стороны! Ну, понимаешь ли теперь?..

– Понимаю, храбрый витязь, понимаю! Я только одного в толк не возьму, в кого ты уродился? Все твои земляки выросли на боях, удалые воины, молодцы, а ты...

– Что я?..

– Да как бы тебе сказать? Бабой тебя назвать нельзя: усы велики; греком также не назовешь: у тебя рыжие волосы, а варягом назвать стыдно.

– Что ты, братец? Неужли в самом деле думаешь, что я робею? Да не будь я Фрелаф, сын Руслана, внук Руальда и правнук Ингелота; да чтоб на моей тризне пели не скальды вешие, а каркали черные вороны; чтоб в мой доспех наряжались старые бабы и вместо меча из моих рук не выходило веретено с пряжею...

– Возьми ж свой меч, могучий богатырь Фрелаф! – сказал кто-то позади насмешливым голосом.

Варяг обернулся, отпрыгнул назад и вскричал с ужасом:

– Это он!

– Да, это я! – продолжал спокойно незнакомый. – А вот твой меч, – прибавил он, бросив что-то к ногам Фрелафа. – Подыми его, добрый молодец, да смотри поберегай: он тебе по плечу.

Сказав сии слова, незнакомый пустился скорыми шагами вслед за небольшим человеком, который, закрывая лицо полою своего кафтана, бежал, не оглядываясь, по тропинке, ведущей на вершину Кучинской горы. В полминуты они оба исчезли из глаз Стемида.

– Откуда взялся этот долговязый? – спросил он наконец, перестав смотреть в ту сторону, где скрылся незнакомый. – Не видал ли ты, Фрелаф?

Варяг не отвечал ни слова.

– Что ж ты, – продолжал Стемид, – онемел, что ль? Фрелаф, а Фрелаф?.. Да очнись, братец!

– Это он! – промолвил, заикаясь, варяг.

– Кто он?

– Точно он!

– Да кто?

– Ну вот тот самый, что давеча у Велесовой божницы...

– Так что ж ты, прозевал его?

– Прозевал!.. Нет, братец, полно теперь спорить! До сих пор я не давал веры речам вашим; бывало, как вы начнете рассказывать о киевских ведьмах и злых чародеях, так я и слушать не хочу, – теперь всему верю! Ах, батюшки, что это?.. Лишь только этот кудесник дыхнул мне в лицо, так у меня и руки опустились, и ноги онемели, и даже язык отнялся. Ну, не диво же, что я давеча промахнулся: он отвел мне глаза... Да, да, он точно меня обморочил: вместо себя подsunул камень, а сам сквозь землю провалился.

– Статься может, Фрелаф, только я слышал, что от испуга также язык отнимается.

– Да помилуй, братец! Если этот разбойник не чародей, так откуда же он взялся?

– А вот, может быть, из этого шалаша.

– Как бы не так! Как я обернулся, так он еще по колени был в земле!.. Да разве не слышишь, Стемид? Фу, какой смрад!

– Нет, я ничего не слышу.

– Что ты, братец! Так и пахнет преисподнею... Уйдем скорей отсюда.

– погоди, Фрелаф: подыми прежде свой меч.

– Мой меч?

– Ну да! Он бросил что-то вот здесь наземь, сказал, что это твой меч, и советовал тебе поберегать его.

– В самом деле? – вскричал с радостью Фрелаф. – То-то же, – видно, не под силу пришелся этому разбойнику! Да где же он?

– Постой! – сказал Стемид, наклоняясь. – Вот здесь, кажется... Что это? – продолжал он, подымая с земли большое расписное веретено. – Ну, брат, подшутил же он над тобою! Посмотри, каков твой меч!

– Как! Веретено!..

– Да, да, веретено! – повторил Стемид, умирая, со смеху. – Ай да молодец! Ну, теперь и я вижу, что он чародей.

– Ах он собака! – заревел варяг. – Постой, разбойник, вот я тебя!.. Держи его, держи!

– Полно горланить-то, Фрелаф! Не умел держать, когда был у тебя под носом, а теперь орешь.

– Ах он проклятый кудесник! Да я на дне морском его отыщу! Чтоб я не отомстил за эту обиду, я, Фрелаф, сын Руслava, внук Руальда!

– И правнук Ингелота, – промолвил Стемид. – В самом деле, этот чародей вовсе не уважает твоих предков; однако, я чаю, ты не погневаешься на меня, если я не отдам тебе этого расписного меча? Дозволь мне похвастаться им перед товарищами!..

– Что ты, Стемид! – вскричал Фрелаф. – Пожалуйста, не рассказывай никому, пока я не отомщу за эту смертную обиду. Ты знаешь наших молодцев: как попадетса им на язычок это веретено, так мне житья не будет.

– Слушай, Фрелаф, – сказал, помолчав несколько времени, Стемид, – я парень добрый, так и быть, не перескажу никому о том, что видел; зато и ты не моги никогда хвастаться передо мною своим удалством и богатырством. Без меня, пожалуй, себе на здоровье, ломай дубья, бери города, разбивай кулаком стены каменные, хвастай сколько душе угодно; но при мне, если ты заикнешься об этом, а пуще коли вымолвишь хоть одно непригожее слово о княжеском отроке Всеславе, – смотри, берегись: этот меч-кладенец будет всегда со мною, и я при всех тебе его отдам... Ну, теперь пойдем – пора спать. Ах он леший проклятый! – продолжал Стемид, пройдя несколько шагов и принимаясь снова смеяться. – И пришло же ему в голову!.. Да кто ему шепнул, разбойнику, что ты храбрый витязь Фрелаф! Ну, видно, он в самом деле кудесник!

Пристыженный варяг, повесив голову, отправился вместе со Стемидом по дороге, ведущей в Киев. Он молчал как убитый и только изредка, когда громкий хохот его товарища прерывал ночную тишину, бормотал про себя, пошевеливая своими огромными усами:

– Смейся, смейся, проклятый русин! Засмеялся бы ты у меня, кабы я был сам-третей или сам-четверт!

## IV

В высоком тереме, из которого можно было окинуть одним взглядом большую часть Киева и живописных его окрестностей, за дубовым резным столом сидел Богомил, верховный жрец Перунова капища. Бледный свет от стоящей перед ним лампы слабо отражался на бревенчатых стенах светлицы, разделенной надвое деревянного перегородкою. Серебряные сосуды различных форм и некоторые другие вещи, служащие для жертвоприношений, расставлены были в порядке на двух полках, также украшенных резьбою. С другой стороны стола, на скамье, покрытой пушистым мехом серого волка, сидел любимец Богомила, Лютобор. Заткнутый за пояс широкий жертвенный нож был единственным признаком его звания. Лютобор занимал место старшего жертвоприносителя и пользовался властью, почти равною с могуществом верховного жреца. Бледно-желтоватое лицо его, похожее на безобразную восковую личину; неподвижные резкие черты, отлитые в какую-то идеальную форму, в которой не было ничего человеческого; совершенное отсутствие жизни в тусклых, бело-

ватых глазах – словом, все в этом живом мертвце было ужасно и отвратительно. Когда он молчал, то походил на бездушный труп; начинал говорить, и всякий с первого взгляда почел бы его адским духом, который, в виде мертвца, беседует с повелителем своим, верховным жрецом Богомилом. Казалось, этот последний читал с большим вниманием пергаменный свиток, исписанный руническими буквами<sup>39</sup>. Трудно было бы определить, какого рода ощущения волновали в эту минуту честолюбивую и злобную душу этого хитрого старика. В его седых, почти сросшихся бровях, на высоком наморщенном челе изображалось беспокойство; сверкающие из-под густых ресниц глаза горели нетерпением; он пожирал ими бесконечные столбцы развернутой рукописи; то улыбался, то хмурил брови, казался довольным, и вдруг чело его покрывалось новыми морщинами. Он покачивал с сомнением головою, переставал читать и, облокотясь на руку, предавался глубокой думе; потом снова принимался за рукопись и наконец, оттолкнув ее с досадою от себя, сказал вполголоса:

– Нет, все эти чужеземные обряды мне вовсе не по душе!.. Арконский Световид<sup>40</sup> ничем не лучше нашего Перуна... Конечно, Стетинский храм великолепен: эти сокровища, эти византийские пурпуровые ковры, этот белый конь Световидов, прорицающий будущее, – все это должно дивить и поражать священным ужасом народ; но Владимир... Нет, не то надобно Владимиру!.. Недаром каждую ночь черный воров каркает над кровлею моего дома... Чу!.. Слышишь, Лютобор, вещий его голос? Недаром в самую полночь стаи голодных псов воют под окнами моего терема; и часто, среди ночной тишины, когда, измученный лютою бессонницей, я начинаю смыкать усталые глаза мои, внизу за Днепром раздаются дивные голоса в воздухе: я слышу отвратительный хохот русалок, пронзительные вопли кикимор, и Долобское озеро ревет, как дикий вепрь. Ах, чует мое сердце!.. Лютобор, мы спим на краю пропасти, и близок... да, близок час нашей гибели!

Страшилище зашевелило губами, и что-то похожее на человеческий голос вырвалось из груди его; казалось, оно повторило с удивлением последние слова Богомила.

– Так, – продолжал верховный жрец, – если мы не предупредим грозящей нам беды, то гибель наша неизбежна. Ты должен знать все, Лютобор... Да, одному тебе могу я открыть эту тайну... Ты всеми ненавидим: вельможи и даже сам Владимир смотрят на тебя с отвращением; ты живешь, ты дышишь, ты создан мною. Слушай: вот уже близко месяца, как великий князь не выходит из своей одрины<sup>41</sup>; как тяжкий свинец, крепкая дума лежит на душе его; замолкло все в его светлых гридницах, и, глядя на кручину своего государя, приуныли знаменитые бояре, могучие богатыри и все храбрые его витязи; но никто не знает, о чем скорбит и тоскует Владимир. Я один знаю это и трепещу, Лютобор!.. Владимир начинает презирать и гнушаться верою отцов своих!

Живой мертвец вздрогнул, неподвижные черты лица его одушевились, и он вскричал почти с ужасом:

– Как?.. Владимир? Нет, нет, это невозможно! Набожный Владимир, который соорудил этот великолепный храм Перуну, не пожалел своего серебра и злата на изваяние кумира, коему дивятся все гости иноземные; Владимир, который приносит столь частые жертвы, осыпает дарами тебя и всех жрецов!..

– Да, – прервал Богомил, – тот самый Владимир, который недавно преклонял колена не только перед кумиром всемогущего Перуна, но пред жертвенниками Стрибога<sup>42</sup>, Позвизда и Купалы, с презрением отвергает мольбы мои и не желает присутствовать при священных

<sup>39</sup> Рунические буквы – вырезавшиеся на дереве, камне и т. п. буквы готического алфавита древних германцев, использовавшиеся главным образом для культовых и памятных надписей (II–XIII вв.).

<sup>40</sup> Арконский Световид – имеется в виду расположенный на северном мысе острова Рюгена в Балтийском море храм с изваянием бога Свентовита.

<sup>41</sup> Опочивальня.

<sup>42</sup> Стрибог – древнеславянский языческий бог ветров.

наших обрядах, последней беседе со мною, когда я убеждал его прибегнуть к богам, «ибо они одни, – сказал я, – могут излечить душевный твой недуг», он нахмурил свои грозные брови и, покачав печально головою, сказал: «Нет, Богомил, твой Перун безмолвствует: или ничтожные жертвы, тобой приносимые, недостойны его, или мы, в слепоте нашей, поклоняемся не тому, кто правит вселенною и держит в руке своей сердца владык земных! В душе моей созрела мысль – я исполню ее! Не все народы, подобно нам, чтут Перуна, не все жертвенники орошаются кровью бессловесных животных. Я не могу долее смотреть на эту бойню, которую вы называете жертвоприношением. Мне скучно слышать ваши хороводные завыванья, которые вы именуете священными песнями; мне надоели ваши торжества и обряды – эти потехи малых детей, эти женские игрища, в коих ничто не потрясает мою душу, ничто не наполняет ее благоговением и ужасом. Нет, я недоволен верою отца моего!» Так говорил Владимир, и в сверкающих очах его, в его мощном орлином взгляде я прочел смертный приговор наш: мы погибли, Лютобор!

– Никто не должен погибать без бою! – сказал, помолчав несколько времени, Лютобор. – Из речей твоих я угадываю, чего жаждет душа Владимира. Не называл ли он жертвы, приносимые тобой, ничтожными; наши обряды и торжества женскими игрищами? И подлинно, подумай сам: можно ли взирать с благоговением и ужасом на изображение кроткого божества, которому приносят в дар начатки плодов земных, пару голубей, тельца... Нет, Богомил, не бессловесные жертвы падают под священным ножом жрецов варяжских! Вспомни, что рассказывал тебе о своем боге Одене этот чужеземный певец, Фенкал, которого все варяги называют своим вещим скальдом?..

– Что ты говоришь, Лютобор? – вскричал с живостию верховный жрец, вскочив с своего места. – О, каким светом ты озарил меня! Так, верный мой товарищ, – не кроткие обряды и торжества, не сладкоголосное пение перед кумиром Перуна, не мирные потехи в честь богов потрясут и очаруют закаленную в боях буйную душу Владимира; не того требует взлеянный на бранном щите этот достойный сын кровожадного Святослава. Нет, не уходился еще этот дикий зверь: пресыщенный негою, он заснул на время... Почтим же достойно его пробуждение!.. Ты хочешь крови, Владимир! Добро, мы потешим тебя!..

Богомил призадумался и после минутного молчания продолжал, обращаясь к своему наперснику:

– Завтра же надобно пригласить на совещание именитых бояр и витязей княжеских. Я скажу им, что разгневанные боги неверием многих нечестивых граждан киевских требуют необычайных жертв; что доколе кровь человеческая не обогрит жертвенник Перунов, ничто не уврачуе душевный недуг Владимира и не рассеет его мрачных помыслов. Я назначу сам жертву, угодную небесам, ибо мне одному как верховному жрецу Перуна открыта воля богов.

– А так как эта воля для тебя всегда открыта, – прервал Лютобор, – то, вероятно, ты можешь теперь уже сказать, на кого должен пасть этот жребий.

– На кого?.. Лютобор, поднимется ли рука твоя, вонзишь ли ты без трепета твой жертвенный нож в грудь варяга?

– В грудь варяга?! – повторил с удивлением Лютобор. – Но что скажут его единоплеменцы, эти гордые поклонники Одена, едва признающие над собой власть великого князя? Богомил, ты знаешь, что рука моя не дрогнет, но я желал бы лучше принести на жертву десять киевских граждан, чем одного варяга...

– Даже и тогда, если этот варяг христианин?

– Христианин! – вскричал Лютобор. – Христианин! – повторил он, заскрежетав зубами. – О давай его сюда, Богомил! И клянусь преисподнею, если б он был родной брат мой, единственное мое детище, любимый витязь великокняжеский...

– Нет, он простой гражданин. Помнишь ли ты, как дней десять тому назад, совершив обряд жертвоприношения, я вышел из святилища, чтоб благословить народ, который тол-

пился на площади вокруг храма? Все пали ниц; один только бедно одетый, но видный собою муж не преклонил главы своей. Как теперь вижу пред собою это величественное и спокойное чело! С каким обидным состраданием смотрел этот горделивец на толпу народа, отдавшего мне должную почесть! С каким притворным добродушием он покачивал печально головою и, казалось, хотел сказать: «Бедные, вы не ведаете сами, что творите в слепоте вашей!» Во всю жизнь мою не изгладится из моей памяти этот устремленный на меня взор. О, я простил бы ему, если б он пылал злобою!.. Нет, я прочел в нем одно презрение! Понимаешь ли ты, Лютобор, как должен я ненавидеть этого надменного христианина? С первого взгляда я узнал в нем одного из сотников варяжской дружины, который, изменив вере отцов своих, давно уже живет простым гражданином и не служит в числе ратных людей великокняжеских. Его звали Руславом, а теперь зовут Феодором.

– И боги изберут его?..

– Нет, Лютобор, смерть не испугает варяга, и ничто не возмутит надменной души христианина: он с тем же спокойным челом пойдет на смерть, с каким идет на брачное торжество. Но он отец, у него есть сын, прекрасный отрок...

– А, понимаю!

Богомил замолчал, призадумался; снова крутой лоб его покрылся морщинами; в блуждающих взорах изобразилось беспокойство, и он промолвил вполголоса:

– Но если и это средство возбудить набожность Владимира останется тщетным, если, я страшусь вымолвить это слово, если он... захочет сделаться христианином?..

– О, я не опасюсь этого! – прервал Лютобор. – Когда отец его, несмотря на все просьбы своей матери, не осмелился принять веры, презираемой его храброю дружиною...

– На что не осмелится Владимир! Лютобор, ты не знаешь всю твердость этой непоколебимой души! Один он может разрушить храмы богов наших, низвергнуть кумир Перунов и навеки истребить веру отцов своих. Что противостоянет его мощной воле, кто дерзнет не последовать примеру Владимира? Нет, если ненавистные христиане успеют обольстить его, тогда... О, тогда или боги, во гневе своем, изрекут смерть Владимиру, или мы погибнем! Да, не пугайся, Лютобор, – не ты будешь исполнителем воли богов: я знаю одного бесстрашного мужа, который, по единому мановению руки моей, пронзит сердце Владимира. Моя ненависть к Феодору, ко всем христианинам – ничто в сравнении с злобою, которую он питает в душе своей к сему правнуку Олега. Он взял на себя клятвенное обещание, не выполненное ни отцом его, ни дедом: воздать злом за зло, кровью за кровь. Он жил долго у печенегов, ездил в Византию и успел склонить на свою сторону хитрого государя, для которого могущественный Владимир с каждым днем становится опаснее. Ласкаясь надеждою, что он не только совершит кровавую месть свою, но возвратит потомку древних князей киевских законное их наследие...

– Как, – прервал Лютобор, – неужели не совсем еще истребился род Аскольдов?

– Нет. Единственная отрасль этих несчастных князей, сын внуки Аскольдовой, которая с отцом своим успела укрыться от мечей убийц в землю хорватскую, жив еще. По неисповедимой воле богов этот юноша служит теперь правнуку того, кто отнял его наследие и умертвил его прадеда.

– Кто же из витязей княжеских этот потомок Аскольда?

– Тайна эта не многим известна. Я знаю ее, но открою не прежде, пока не истощу всех средств к нашему спасению.

– Но как узнал ты эту тайну? – спросил с любопытством Лютобор.

– А вот слушай, я расскажу тебе все. Лет восемнадцать тому назад, когда покойный князь Святослав Игоревич приехал в Киев повидаться со своею матерью, княгиней Ольгою, случилось ему быть на охоте близ горы Хоревицы, за Вышегородом; он пригласил и меня вместе с ним позабавиться этой любимой его потехою. Вот этак под вечер, когда князь, бесе-

дую со мною, ехал уже с поля, какой-то высокий муж выскочил из-за куста и хотел хватить его по голове бердышем. Князь увернулся, и вся толпа бросилась за разбойником, который пустился бежать в самую середину леса. Все это произошло в несколько мгновений; но исполинский рост незнакомца и грозные черты лица его глубоко врезались в моей памяти. Воевода Претич и трое другие княжеских витязей, гонясь за ним по пятам, наехали на небольшую избушку, построенную в глубоком овраге. Витязи продолжали гнаться за разбойником, а Претич сошел с коня, заглянул в эту лачужку и нашел в ней почти грудного ребенка, весьма бедно одетого, но у которого на шее висела небольшая золотая гривна нехитрой работы. Когда витязи возвратились назад, не поймав убийц, то, размыслив хорошенько, что в этой избушке некому жить, кроме разбойника, и что ребенок – его сын, они захватили его с собою и привезли к князю. Не знаю, что было бы с этим горемычным сиротою, если б не сжалилась над ним княгиня Ольга. Она взяла его к себе и при кончине завещала любимой своей ключнице, Малуше<sup>43</sup>, матери нашего князя Владимира, иметь о нем попечение, как о собственном своем детище. Малуша переехала на житье в Великий Новгород, где воеводствовал тогда ее сын, и когда Владимир, по смерти родителя своего, овладев всем царством Русским, начал княжить в Киеве, то я заметил в числе его витязей двух юношей, которые любили друг друга, как родные братья. Они оба охотно беседовали со мною о таинствах и преданиях веры нашей. Один из них, поразговорясь однажды со мною, признался, что, воспитанный матерью великого князя вместе с другим сиротою, который также служил Владимиру, он не знает ни роду своего, ни племени; что с младенчества носит на груди золотую гривну как единственное наследие отца своего и что всякий раз, когда он пытался по выведавать что-нибудь от благодетельницы своей, Малуши, она отвечала ему: «Не спрашивай, дитятко! Ты и товарищ твой, вы оба горемычные сироты. Одного из вас нашли в дремучем лесу, другого на ратном поле, между мертвыми. Кто вас поит и кормит, тот вам и отец и мать». По этим речам нетрудно мне было смекнуть, что, может быть, этот юноша – тот самый ребенок, которого воевода Претич нашел в избушке. Склонясь на мою просьбу, он показал мне свою золотую гривну; я узнал ее – это была та самая, которую я видел лет восемнадцать тому назад. Я не умел еще в то время разбирать таинственные письма жрецов варяжских; изучась впоследствии этой хитрой науке, я без труда, но с удивлением прочел начертанные на этой гривне слова: «Аскольд, князь Киевский». Не знаю, почему мне пришло тогда на мысль, что это неожиданное открытие может некогда мне пригодиться. Опасаясь, чтоб кто-нибудь другой не разобрал надписи, я уверил легковверного юношу, что с этою золотою гривною неразлучно соединено все будущее его счастье; что все блага земные изольются на главу того, кто носит на себе этот залог благоволения и милости богов; а поэтому, дабы сохранить вернее эту драгоценность, я крепко-накрепко приказал юноше не только никому ее не показывать, но даже и говорить о ней. Я уже сказывал тебе, что великий князь, беседуя со мною в последний раз до самой полуночи, открыл мне наконец тайную причину своей скорби и уныния. Возвращаясь от него домой, смущенный грозным предчувствием, объятый ужасом, я впал в какое-то младенчество и, подобно малодушной жене, решился прибегнуть к тщетным мольбам: как ночной тать, я прокрался к Перуновой божнице, отпер один из боковых притворов и вошел в святилище. Все было тихо кругом; неугасаемый огонь, горящий перед исполинским изображением Перуна, обливал ярким светом его серебряную главу. Я пал во прах перед стопами божества, вопил, бился головой о каменное его подножие, молил о помощи – все напрасно: камень оставался камнем, неодушевленный истукан безмолвствовал. О, Лютобор, какое бешенство овладело тогда мною! Ничем не изъяснимое, адское отчаяние, как лютый зверь, впилося в мое сердце. «Итак, нет спасения, – воскликнул я, – нет прибежища!» И вдруг мысль об убийстве, подобно молнии, сверкнула в главе моей. Как одержимый злым духом,

<sup>43</sup> Малуша – ключница великой княгини Ольги, наложница Святослава, мать Владимира Святославича.

я возопил неистовым голосом: «Горе тебе, вероломный! Так смерть, смерть отступнику от веры отцов своих, смерть Владимиру!» – «Да, смерть Владимиру!» – повторил подле меня громовой голос. Я вздрогнул, обернулся, гляжу: передо мной стоит грозный, неподвижный, как второй кумир Перунов, муж исполинского роста, закутанный в черную одежду. При первом взгляде узнав в нем незнакомца, который некогда едва не умертвил Святослава, я с ужасом отскочил назад. «Чего ж ты испугался, Богомил? – продолжал он с усмешкою. – Я подслушал твои речи, так что ж? Давай руку, товарищ!.. Братьями с тобой мы никогда не будем: ты жрец, а я воин; но мы оба ненавидим Владимира... Итак, смерть ему!»

– Чу! Что это? – вскричал Лютобор, прервав рассказ верховного жреца.

Глухой звон от тяжелой железной цепи и дикий отвратительный рев раздался под окнами терема.

– Ага, – сказал Богомил, взглянув в окно, – это мой нелюдим: видно, почуял близко чужого... Ну, так и есть...

– Постой-ка, – прервал Лютобор, – да это, кажется, Торопка Голован. Отчего же твой мохнатый сторож так переполошился?

– Но разве ты не видишь, что за ним идет... Так точно, это он!

– Вижу, вижу! – вскричал Лютобор. – Так этот-то?.. Ну, молодчина!.. Посмотри-ка, Богомил, и медведь твой его испугался... Эх, торопится забиться в свою конуру!

– Слушай, Лютобор, – сказал верховный жрец, – притаись за этою перегородкой: ты будешь слышать наш разговор; но смотри, чтоб он не догадался, что в этой светлице есть кто-нибудь другой кроме меня.

Едва Лютобор успел спрятаться за перегородку, как тяжелые шаги послышались по крутой лестнице, и незнакомый, закутанный в верхнюю свою одежду, вошел в светлицу.

Незнакомый кивнул головою и сел молча на скамью, на которой за минуту сидел Лютобор; а Богомил занял прежнее место.

– Ты хотел со мною видеться? – продолжал жрец, помолчав несколько времени.

– Да! – отвечал отрывисто незнакомый. – Но одни ли мы?

– Да неужели ты думаешь?..

– Что верховный жрец Богомил может быть предателем? О, нет! Я вижу только, что против тебя кто-то недавно сидел. Посмотри, как измят этот волчий мех!

– Здесь, еще до солнечного заката, беседовал со мною один из жрецов, – отвечал спокойным голосом Богомил.

– До заката солнечного? – повторил незнакомый, поглядев недоверчиво вокруг себя. – Так видно же, он не близко живет отсюда.

– Почему ты это думаешь? – спросил Богомил.

– А потому, что гость твой, как видно, спешил уйти, чтоб засветло до дому добраться! Посмотри-ка: второпях и шапку свою здесь оставил!

– Эта шапка моя.

– В самом деле? Вот что! – сказал с насмешливою улыбкою незнакомец, взяв со скамьи и рассматривая небольшую с лисьим околышем шапку. – Смотри, пожалуй! А кажется, с виду-то она тебе и на полголовы не взойдет. Богомил, здесь есть кто-нибудь кроме тебя!

– Не веришь мне, так посмотри сам, – отвечал верховный жрец, не изменяя нимало своему спокойствию.

Незнакомец приподнялся, сделал шаг вперед, но вдруг остановился и, садясь снова на скамью, сказал:

– В самом деле, что тебе прибыли меня обманывать? Разве ты не знаешь, что если бы ты, на беду свою, задумал выдать меня Владимиру и хотя бы для твоей защиты засажена была за этою перегородкой вся храбрая его дружина, то и тогда легче бы ей было в одну

ночь переплыть Русское море<sup>44</sup> и взять на копье твердыни византийские, чем вырвать тебя живого из рук моих. Нет, я знаю тебя, Богомил: у нас до этого никогда не дойдет с тобою!

– Ты напрасно меня подозреваешь. Клянусь тебе...

– Полно, не клянись, – нам некогда долго беседовать. Я хотел только уведомить тебя, что печенеги прислали ко мне гонца с известием, что многолюдная их рать собралась уже на Дону, близ Белой Вежи, и что ясы<sup>45</sup> и косоги<sup>46</sup>, под предводительством юного своего князя Редеди<sup>47</sup>, готовы громить пределы Тмутараканские<sup>48</sup>. Чтоб не жечь и не разорять Киева, печенеги назначают окуп: с каждого двора по одному солиду. Я найду способ, не обижая граждан киевских, насытить этих плотоядных зверей. Сокровища византийские неистощимы, а греки не пожалеют своего золота, чтоб только сгубить Владимира, который для них тошнее и отца своего и деда. Но не топтать коням печенежским заповедных лугов киевских, не громить косогам Тмутаракани богатой, и печенеги не дерзнут перейти за Дон, и косоги приблизиться к морю Сурожскому<sup>49</sup>, доколе еще жив Владимир; а ты знаешь, в чьих руках жизнь его. Скажи одно слово, одно только слово, Богомил! Но до тех пор, пока ты не скажешь его, пока я не найду того, кто один может княжить по правде в великом Киеве, до тех пор рука моя не подыметься для совершения правдивой мести: я не хочу предать сограждан моих всем лютым бедствиям междоусобия, не хочу, чтоб смуты народные и безначалие сгубили до конца мою родину. Недаром говорится: «Тяжело быть голове без плеч, а хуже и того быть телу без головы». Послушай, я, кажется, уже не раз тебе сказывал, что тот, кого я ищу, должен носить на шее золотую гривну.

– Я никогда и ничего об этой золотой гривне не слыхивал. Да чуден ты, молодец! Неужели ты думаешь, что воины, которые нашли в лесу покинутого младенца, оставят у него на шее золотую гривну?

– Да, – сказал незнакомец, помолчав несколько времени, – это походит на правду; а дивлюсь я только тому, что ты не знаешь, у кого из витязей княжеских нет ни роду, ни племени.

– Вот то-то и беда! Не могу никак толку добиться.

– Ты лжешь, Богомил! Тебе известна эта тайна, но ты жрец: уста твои обыкли изрекать одну лесть и обман. Попытаюсь в последний раз добиться от тебя правды. Слушай: ты можешь еще теперь предлагать мне свои условия, но если я без твоей помощи узнаю истину...

– Без моей помощи! – прервал с усмешкою Богомил. – Не думаешь ли также без моей помощи заставить киевлян признать своим князем безродного юношу, которого ты назовешь потомком Аскольда? Имеешь ли ты власть именем богов приказать дружине княжеской положить оружие, не отомщать за смерть Владимира и покориться одному из прежних своих сотоварищей? Что, если всемогущий Перун наименует тебя предателем, а его обманщиком и самозванцем; если повелит отразить печенегов и избрать в князья киевские одного из сыновей Владимира или даже одного из знаменитых его витязей? Если я, верховный жрец, возмущу против тебя народ и скажу, что разгневанные боги требуют главы твоей?.. А ты, Веремид, знаешь, трудно ли уверить во всем эту легковерную толпу?..

– Знаю ли я народ, – прервал, нахмутив свои брови, незнакомец, – эту безумную, подлую чернь, которая сегодня закидает грязью того, перед кем вчера преклоняла колена: которая, протягивая за милостыней одну руку, в то же время подымает другую на своего бла-

---

<sup>44</sup> Русское море – Черное море.

<sup>45</sup> Ясы (асы, аланы) – потомки кочевых сарматов, предки осетин.

<sup>46</sup> Косоги – черкесы.

<sup>47</sup> Редеди – князь касогов, богатырь. В 1022 г. побежден в поединке тмутараканским князем Мстиславом Владимировичем.

<sup>48</sup> ...пределы Тмутараканские – полулегендарное русское княжество на Северном Кавказе.

<sup>49</sup> Море Сурожское – старинное название Азовского моря.

годетеля? Знаю ли я ее?.. Я видел смерть Ярополка, которого киевляне величали некогда отцом своим, и слышал радостные крики народа, когда Владимир, обагренный кровью брата, явился на городской площади.

– Итак, подумай хорошенько: нужна ли тебе моя помощь?

– Менее, чем ты думаешь, Богомил. Если я не пожалею Киева, то, верь мне, ничто не спасет его. Посмотрим, как устоите вы против печенегов, когда внезапная смерть Владимира как громом поразит изумленных киевлян! Нет, Богомил, когда безначалие волнует воинов, тогда они страшны для одних мирных граждан и губят не врагов своих, а самих себя. Но я не хочу, чтоб правнук Аскольда воссел на отческом столе своем среди дымящихся развалин Киева и княжил над бездушными трупами. Говори, Богомил, какую цену требуешь ты за кровь Владимира? Чего желаешь от законного князя Киевского?

Богомил провел рукою по своему наморщенному челу, погладил седую бороду и, помолчав несколько времени, сказал:

– Ты знаешь главное и необходимое условие – жить по старине и свято хранить закон и веру отцов наших.

– В этом у нас спора не будет, я и сам мыслю то же: нечестно нам искать правды у чужезмцев; есть у нас своя правда по закону богов, ей учили народ прадеды наши; другой нам не надобно. Чего ты еще требуешь?

– Смерти всех христиан.

– Всех?! – повторил незнакомец. – И старых стариков, и жен, и малых детей?

– Да.

– Богомил, ты не слугитель богов, а дикий зверь. Все христиане будут изгнаны из пределов киевских, и только непокорные этой воле княжеской предадутся в твои руки.

– Ну, ну, добро, пусть будет по-твоему! Теперь поговорим о сане верховного жреца. Слышал ли ты, что на Варяжском море<sup>50</sup> есть остров, именуемый Рюгеном?<sup>51</sup>

– Слышал; так что ж?

– В Арконе, главном городе этого острова, обитают единоплеменные с нами славяне.

– И это знаю.

– А знаешь ли ты всю власть и могущество первосвященника арконского?

– Какое мне до этого дело!

– Постой, постой, молодец: не тебе, так мне есть дело. Первосвященник арконский повинуется одним бессмертным богам...

– И своему князю?

– Нет, он не знает никакой земной власти над собою. Я требую того же.

– Ты требуешь?.. Добро, быть по-твоему.

– Первосвященник арконский имеет своих телохранителей: триста отборных витязей готовы всегда исполнять его приказания.

– И этих рабов жреца именуют витязями?

– Об имени спорить нечего – назови их как хочешь, только я хочу и должен иметь также своих воинов.

– Так и быть, согласен и на это. Ну, теперь ты доволен?

– Первосвященник арконский, – продолжал жрец, не отвечая на вопрос незнакомца, – налагает подати на граждан и на гостей иноземных, дабы умножить сокровища храма.

– И собственное свое богатство?

– Так что ж – разве достояние верховного жреца не есть достояние самих богов? Власть эта должна принадлежать и мне.

---

<sup>50</sup> Варяжское море – Балтийское море.

<sup>51</sup> ...Остров, именуемый Рюгеном... – см. коммент. к с. 58.

– Бедные киевляне!.. Но, делать нечего: лучше уступить половину, чем потерять все. Надеюсь, теперь кончено?

– Не совсем. Первосвященник арконский заключает мир с соседними народами и объявляет им войну.

– Как, – вскричал незнакомец, – и ты смеешь требовать?..

– Я ничего не требую, – отвечал хладнокровно жрец, – это дело полюбовное: хочешь соглашайся, хочешь нет.

– Но, подумай сам, если и эту власть предоставить тебе, что ж будет делать великий князь?

– В час битвы – сражаться с врагами отечества, а в мирное время – пировать с друзьями в княжеских чертогах.

– И жить под рукою своего верховного жреца! Нет, Богомил: управлять войском и народом может только великий князь; он наделит тебя богатыми поместьями; ты будешь первым в его Думе... Доволен ли ты?

Богомил покачал головою.

– Ну, пусть так, – продолжал незнакомец, – без твоего совета он не приступит к миру и не объявит войны. Чего еще тебе?

– Добро, добро, – сказал с улыбкою Богомил, – я человек уступчивый: так и быть, согласен и на это.

– Итак, теперь все кончено?

– Почти. Первосвященник арконский...

– Богомил! – вскричал незнакомец, вскочив с своего места. – Ты истощил мое терпение! Ни слова более! – прибавил он, заметив, что жрец хочет говорить. – И если уж пошло на то, так знай, что, несмотря на мою ненависть к Владимиру, я лучше соглашусь видеть его владыкою Киева, чем коварного жреца, который издевается и над людьми, и над бессмертными богами.

– Полно, не сердись! – прервал Богомил. – Ну так и быть – я более ничего не требую.

– Дивлюсь твоей умеренности! Теперь, надеюсь, ты перестанешь хитрить со мною и объявишь мне имя того из витязей княжеских...

– Эх, молодец, молодец! И рад бы радостью, но я уж говорил тебе, что и сам еще доподлинно не знаю...

Глаза незнакомца засверкали; он поднес правую руку к своему поясу, и почти в ту же самую минуту лицо его приняло снова свой мрачный, но спокойный вид. Сложив крест-накрест руки, он устремил пронизательный взгляд на жреца, а сказал после минутного молчания:

– Ты не знаешь?.. Нет, Богомил, ты не знаешь только, на что тебе решиться: предать ли меня Владимиру или быть моим сообщником. Слушай: я даю тебе еще десять дней на размышление, но если и тогда...

– Да могу ли я поручиться, – прервал жрец, – что в десять дней узнаю эту тайну, могу ли...

– Ты можешь желать, Богомил, перехитрить меня, – прервал с насмешливою улыбкою незнакомец, – но не должен и не можешь надеяться успеть в этом. Вот, чай, ты и теперь думаешь, что тебе удалось обмануть меня, не правда ли? Мы здесь только двое и твой задушевный друг Лютобор не сидит за этой перегородкою?.. Да полно, не божись понапрасну! – продолжал незнакомец, подходя к перегородке и отворяя дверь. – Эй ты, затворник, вылезай из твоей засады! Ты слышал нашу беседу, так можешь дать полезный совет своему верховному жрецу... Да выходи же, – промолвил он, взяв за руку и вытаскивая из-за перегородки полумертвого Лютобора.

– Что, иль у вас обоих язык отнялся? – продолжал незнакомый, посматривая то на побледневшего Богомила, то на наперсника его, который, дрожа всем телом, стоял как вкопанный посреди светлицы. Ну, видишь ли, Богомил, как легко обмануть меня и как я должен верить твоим божбам и клятвам? Не забудь, что через десять дней мы с тобой увидимся, и если ты опять велишь своему другу засесть в какую-нибудь конуру и подслушивать мои речи, то посоветуй ему не оставлять на виду своей шапки или, по крайней мере, завести себе другую, которая была бы не так заметна.

Сказав сии слова, незнакомец завернулся в верхнюю свою одежду и, кинув последний, исполненный презрения взгляд на обоих жрецов, вышел молча из терема.

## V

Ручей, известный под именем Почайны и впадающий ныне в Днепр за полверсты от Киева, был некогда хотя небольшою, но глубокою и судоходною речкою. Извиваясь несколько времени по лугам, называемым Облонью, и обтекая весь Киево-Подол, она соединялась наконец с Днепром, близ урочища, наименованного впоследствии Крещатиком. Верховья этой речки терялись в нескольких верстах от Киева, среди непроходимых оврагов и болот, поросших в то время дремучим чернолесьем.

На другой день после вечера, описанного нами в предыдущих главах, часу в четвертом пополудни, когда еще утренний туман волновался по низменным берегам Почайны и покрытый густою тенью темный лес казался еще темнее от противоположности с ярко освещенными верхами высоких холмов киевских, один молодой всадник, весьма просто одетый, но сидящий на красивом вороном коне, ехал шагом по отлогому берегу этой речки. Казалось, он был еще в самых цветущих годах своей жизни, и прекрасное лицо его, несмотря на мускуловатую и даже несколько загоревшую шею, едва ли бы показалось не у места на белоснежных плечах какой-нибудь русской красавицы. Но в светлых, голубых глазах его незаметно было беспечной веселости, этой минутной, но верной сопутницы первых годов нашей жизни – тех счастливых годов, когда все грустные впечатления скользят еще по душе нашей, не оставляя и следа горести; когда целый ряд надежд, одна другой прекраснее, позлащают нашу неизвестную будущность; когда мы, вдыхая в себя животворный воздух весеннего утра и не имея никакой причины радоваться, поем, веселимся, гарцуем от одного избытка жизни и здоровья.

Юный всадник, ехавший по берегу Почайны, не распевал молодецких песен о славном Днепре, о его глубоких омурах, о кровавых битвах с чудью поганою; не заставлял играть под собою коня своего, а ехал шагом, опустя поводья, и казался погруженным в глубокую думу.

Шагах в десяти от него шел, по одному с ним берегу, человек малого роста в большой овчинной шапке, едва прикрывавшей его огромную голову, обросшую густыми волосами. За простым ремнем, который опоясывал смурый кафтан его, заткнут был широкий меч без ножен. Он не спускал глаз с молодого всадника, покашливал, посвистывал, громко разговаривал с самим собою – словом, употреблял все способы, чтоб обратить на себя внимание юноши и заставить его оглянуться. Заметив наконец, что все его старания остаются напрасными, он вдруг запел громким и звучным голосом:

О гой, ты Днепр, ты широкий Днепр,  
Ты река моя родимая!  
Ты взлелеял добра молодца,  
Добра молодца безродного;  
На волнах своих укачивал  
Сиротинку горемычного;

Как отец его родной,  
Как родная его матушка,  
Ты вскормил его и выростил;  
Расстилал ты для него  
По отлогим берегам  
Мураву шелковую;  
Одевал ты его  
По осенним ночам  
Теплыми туманами.

Молодой всадник начинал приметным образом вслушиваться в песню; казалось, однако же, что ее веселый и почти плясовой напев не доходил до души его. Он поехал тише прежнего, но не оглянулся. Окончив песню, прохожий помолчал несколько минут, потом откашлялся и запел протяжным, заунывным голосом:

Ты, детинушка, сиротинушка,  
Бесприютная твоя головушка!  
Без отца ты взрос, без матери,  
На чужих руках ты выношен;  
Ты о батюшке своем не слыхивал,  
Родной матушки не видывал...

При первых словах песни всадник вздрогнул, стал прислушиваться, на глазах его навернулись слезы, и он оглянулся назад:

– Доброго пути, счастливой дороженьки, господин честной! – сказал прохожий, перестав петь и приподнимая свою шапку.

– Спасибо, товарищ! – отвечал всадник, посматривая с удивлением на исковерканную и смешную физиономию певца. – Ну, нечего сказать, – промолвил он, с едва приметной улыбкою, – некрасив ты, любезный, а поешь хорошо!

– Мурныкаем кое-как, добрый молодец! – сказал прохожий, прищурился и искривил рот. – Да не пожалует ли ваша милость, не купит ли у меня вот эту саблю богатырскую? – продолжал он, подходя поближе и вынимая из-за пояса свой меч. – Ты смотришь храбрым витязем, так авось тебе эта игрушка молодецкая по плечу придется.

– Нет, добрый человек, мне твоего меча не надобно; да он же и без ножен. Так что ж? У кого другого, а у тебя, молодец, он много еще ножен изотрет. Чай, каждый год по десятку меняешь?

– Да почему ты думаешь, что я человек ратный?

– И, господин честной, видна птица по полету. Да если такому молодцу не быть витязем, так кому же и покрасоваться на потеху богатырской. Эх, кабы у меня был этакий сынок! То-то, чай, на тебя и отец и мать смотрят не насмотрятся, глядят не наглядятся.

– Отец и мать! – повторил печальным голосом всадник. – А если у меня нет ни отца, ни матери?

– Ой ли? Ну, молодец, поторопились же они умереть! Тебе, чай, и двадцати двух годов нет от роду: не правда ли?

– Ты немногим ошибся: мне ровно двадцать два года.

– Ну, так и есть!.. А что, молодец, чай, батюшка твой был так же, как ты, человек ратный?

Всадник не отвечал ни слова.

– Эка притча, подумаешь, – продолжал прохожий, как будто бы разговаривая с самим собою, – осиротеть в таких молодых годах!.. А может статься и то, что отец и мать прижили тебя под старость, так не диво, что им взростить тебя не удалось. Не так ли, господин честной?

– Не знаю, – отвечал отрывисто и почти с неудовольствием юноша.

– Не знаешь? Вот что! Так, видно, ты был у них последний, остался в сиротстве молодым дитею и не помнишь, сердечный, ни отца своего, ни матери. А все-таки не погневайся, коли тебе не знать: ну если сам не видал, так, чай, не раз слышал о них от братьев, от сестер, от кого-нибудь из кровных?

– От кого-нибудь из кровных! – повторил вполголоса всадник. – Да кто тебе сказал, что у меня есть братья, и почему ты знаешь, обнимал ли я когда-нибудь родную сестру?

– Как так? Да неужли-то, молодец, у тебя нет вовсе никого родных: ни дяди, ни тетки – ни роду, ни племени?

– Послушай, брат, – прервал всадник, поглядев пристально на прохожего, – я тебя не знаю, болтать я не охотник, так ступай своей дорогою: пеший конному не товарищ.

Сказав эти слова, он тронул своего коня и доехал рысью до мелкого кустарника, которым начинался частый лес по берегам Почайны. В ту самую минуту, как всадник, уверенный, что ему удалось наконец отделаться от любопытного прохожего, стал сдерживать своего коня, позади его раздался голос:

– Держи левее, добрый молодец: здесь направо трясина, как запропастишь коня, так один его не вытащишь!

Всадник оглянулся: тот же неотвязный прохожий шел от него в двух шагах, пробираясь сквозь частый кустарник.

– Да что ж ты пристал, в самом деле? – сказал он с досадою. – Я уж сказал тебе, что мне товарища не надобно.

– Не гневайся, молодец, – отвечал спокойно прохожий, – не моя вина, если нам пришлось обоим в одно время – тебе ехать, а мне идти по этой дороге. Хоть ты и сказал, что пеший конному не товарищ, да здесь и ваша милость не раскачетя.

Вместо ответа всадник тронул снова своего коня и поскакал вперед.

– Эй, тише, добрый молодец, тише! – закричал ему прохожий. – Смотри, как раз шею сломишь!.. Берегись... берегись – колода!

Борзый конь юноши взвился на дыбы и как птица перелетел через толстую колоду, которая лежала поперек тропинки.

– Ай да конь, добра лошадь! – продолжал кричать прохожий. – Ну, недаром же его прозвали Соколом.

– Почему ты это знаешь? – спросил с удивлением юноша, осадив своего коня.

– Почему? – повторил прохожий, подходя к всаднику. – А на что тебе? Много будешь знать, скоро состаришься.

– Да ты, никак, издеваешься надо мной? – вскричал юноша.

– И, что ты, молодец: ведь я не полоумный какой! Ну к рожке ли мне издеваться над тобою? Вот ты, господин честной, так это дело другое: назвал себя круглым сиротою, а я сдуру-то поверил! Ну похож ли ты на сироту? Где взять безродному горемыке такого лихого коня, такую богатую конскую сбрую? Воля твоей милости, а ты изволишь потешаться над моею простотою. Правда, если ты и сирота, да только служишь при великом князе отроком или гриднею и зовут тебя Всеславом...

– Так, это мое имя, но почему ты знаешь?

– То ли я еще знаю, – продолжал прохожий, – поразговорись-ка со мною. Я хоть и в смуром зипуне, а, может статься, знаю то, за что б ты отдал охотно все свои и штофные, и

парчовые кафтаны; не пожалел бы коня богатырского, расстался бы даже с заветным мечом своим.

– Как? – вскричал Всеслав. – Так ты ее знаешь?.. О, говори, говори! Кто она?.. Где живет?.. Как зовут ее?..

Прохожий хотел что-то сказать, но вдруг торопливо оглянулся назад, вздрогнул, бросился в сторону и исчез среди частого леса.

– Ага, попался, смиренник! – загремел в близком расстоянии веселый голос, и молодой человек приятной наружности выехал из-за кустов. – Так-то ты объезжаешь своего Сокола? – продолжал он, подскакав к Всеславу. – С кем это ты здесь разговаривал?

– Я и сам не знаю, – отвечал Всеслав, поглядывая с беспокойством вокруг себя, – какой-то прохожий... Но куда он девался?

– Прохожий? Полно, брат, прикидываться: разве прохожая какая-нибудь!

– Он ушел!.. Ах, Стемид, ты, может быть, помешал мне узнать, кто она!

– Она?..

– Да, мой друг, она, о которой тоскует душа моя, которую я не знаю и знал прежде, чем увидел в первый раз.

– Что, что?.. Всеслав, если ты желаешь, чтоб я понимал твои речи, так говори по-людски!

– Да, Стемид, я расскажу тебе все. Не знаю, поймешь ли ты меня, – продолжал Всеслав, слезая с коня и привязывая его к дереву. – Я и сам не понимаю, что происходит в душе моей: она рвется, грустит, в ней все, как ночь осенняя, – и темно, и мрачно. Иногда, как будто бы во сне, я вижу вдали что-то прекрасное, как светлая заря, спокойное, как чистые беспредельные небеса; как будто бы отгадываю какое-то блаженство, не похожее на здешние наши радости, и вдруг все покрывается снова тучами – опять вокруг меня и мрак, и безвестность, и тоска. Душа моя ждет чего-то и не дожидается. Ах, Стемид, как тяжело у меня на сердце! Как неясно здесь, – прибавил он, приложив руку к голове своей. – Однажды только... Но я расскажу тебе сначала. Сядем!

Стемид привязал также коня своего и сел на траву подле Всеслава.

– Не знаю, помнишь ли ты, – сказал Всеслав, – первые годы нашего детства, когда мы оба, призренные бабкою нашего великого князя, милосердою Ольгою, воспитывались в ее княжеских чертогах. Однажды, не знаю почему, но тебя не было тогда со мною, наша вторая мать, Малуша, ввела меня в опочивальню великой княгини. Она лежала бледная, изможденная злым недугом, не на пышном княжеском одре своем, но на простой скамье, покрытой убогою пеленою. Подле нее стоял высокого роста старик в чудной одежде, с распущенными по плечам власами и седою бородою; в одном углу, пред какими-то дивными изображениями, горело множество светильников, в другом стонали и горько плакали все верные ее рабыни. Подозвав меня к себе, великая княгиня говорила что-то очень долго, жалела обо мне и, как бесприютного сироту, препоручала меня одной деве... помню только одно, что она называла ее Пресвятою; потом приказала подать ее изображение и заставила меня облобызать его. Как теперь гляжу на этот дивный образ величественной девы: казалось, она смотрела с какою-то радостною улыбкою на небеса; мне помнится также, что на руках ее лежал прекрасный младенец. Я не успел еще насмотреться на это чудное изображение, как вдруг Ольга крепко прижала его к устам своим, вздохнула и перестала говорить. Малуша вывела меня вон из опочивальни, и я помню также, что, лишь только мы переступили за порог, позади нас поднялись вопли, плач и громкие рыдания.

– А, теперь и я вспомнил, – прервал Стемид, – я был тогда болен, и когда спросил у Малуши, о чем все так плачут, то она сказала мне: «Плачь и ты, дитятко: не стало твоей кормилицы – скончалась наша матушка, премудрая княгиня Ольга». Я не понял тогда этих слов, но помню, что, глядя на других, и сам очень плакал.

– Когда я подросток, – продолжал Всеслав, – то все, бывшее со мною в первые годы детства, совершенно изгладилось из моей памяти; одна только смерть нашей благодетельницы и все то, что я видел при ее кончине, представлялось мне с такою же ясностью, с какою я вспоминаю теперь нашу удалую жизнь в Великом Новгороде, когда мы, возмужав, поступили в число приближенных слуг великокняжеских; но чаще всего образ юной девы, которой поручила меня умирающая Ольга, приходил мне на память. Иногда во сне она являлась мне, окруженная дивным светом, в той же белой одежде: казалось, она смотрела на меня с состраданием, а на руках ее улыбался неописанной красоты младенец. Наши бранные тревоги, бегство к варягам, кровавые битвы заглушили на время в душе моей сии воспоминания детства; но когда все враги преклонили главы свои под мощью десницы Владимира, когда он воссел на великокняжеском столе своем и мы вложили в ножны притупившиеся мечи наши, – те же самые помыслы с новою силою овладели моею душою; с каждым днем мне становилось грустнее. Я скрывал тоску мою от всех товарищей, даже от тебя, Стемид; смеялся, когда мне хотелось плакать, и, разделяя ваши шумные забавы, веселился точно так же, как веселится отец, отправляя погребальную тризну над могилою единородного своего сына. Я ходил вместе с вами смотреть на хороводы молодых киевлянок, но их пляски, их песни казались мне отвратительными. Когда я оставался один, мне бывало легче. Сколько раз, вместе с рассветом, я уходил на берег Днепра; как часто, сидя на крутом утесе подле могилы Аскольда, прислушивался к городской тишине, смотрел на светлые, спокойные струи реки и начинал дышать свободнее. Мне казалось, что эта тишина и безмолвие напоминают душе моей какую-то безвестную страну, обитель вечного мира и спокойствия. Мне даже иногда бывало весело: эти безоблачные небеса, эти высокие холмы и обширные луга, покрытые блестящею росой, этот светлый, широкий Днепр и красное солнышко при своем восходе – все наполняло грудь мою тихою и спокойною радостью; но в то же время ничем не преодолимое желание возблагодарить того, кто создал этот белый свет, украсил его, как юную невесту, и дал мне сердце наслаждаться его красотой, отравляло это мимолетное веселие. Я начинал плакать, как малое дитя. «Где Ты? – восклицал я с горестью. – Ты, кого я хочу и не могу благодарить. Ты, пред кем я жажду преклонить колена, за кого желаю положить душу мою...»

– Как? – прервал Стемид. – Ты удивляешь меня! Разве у нас нет богов? Разве всемогущий Перун...

– О, не говори мне об этом! Сколько раз, не вмещая в груди моей чувства благодарности, которое стремилось излиться пред кем бы то ни было, я спешил в храм Перуна; но лишь только переступал через порог его божницы, все умолкало в душе моей; слезы, готовые литься, иссыхали: они превращались в тяжкий камень, который давил мое сердце. О, мой друг, с какою бы радостью я отдал все на свете, чтоб хотя на одно мгновение сбросить с сердца этот тяжелый камень; чтоб сказать Тому, которого не постигает душа моя: «Вот я, возьми жизнь мою, но не запрещай благодарить Себя!»

Всеслав замолчал, грудь его сильно волновалась, и крупные слезы катились по бледным щекам. Посмотрев с сожалением на своего друга, Стемид сказал вполголоса:

– Что за диво такое?.. О чем он толкует?.. Полно, нет ли тут чего-нибудь?.. В наши годы даром не грустят... Воля твоя, Всеслав, а это недаровое. Уж не приглянулся ли ты какой-нибудь киевской ведьме? Говорят, они, проклятые, такую тоску наводят на нашего брата, что и белый свет не взмилится. Со мной этого не бывало, а однажды обошел меня леший, так я целые сутки плутал по лесу. Эй, Всеслав, послушайся меня, поговори-ка об этом с верховным жрецом Богомиллом: он даст тебе какого-нибудь снадобья, пошепчет над тобою... Да полно качать-то головой: ведь он, братец, на это горазд. Я помню, как однажды при мне жреца Лютобора схватила какая-то черная немочь: ударило его, сердечного, оземь, да начало так коверкать, что и сказать нельзя. Ну что ж?.. Лишь только Богомилл пошептал над ним

да дунул ему в лицо, так он вскочил и пошел как встрепанный. Однако ж ты не все еще мне досказал; ты что-то намекнул мне, что однажды...

– Да! – прервал Всеслав. – Дней десять тому назад тоска моя усилилась до того, что я не мог уснуть во всю ночь. Не помню, чтоб я ожидал когда-нибудь с таким нетерпением утра: сердце мое то билось шибче обыкновенного, то замирало. На рассвете пришли мне сказать, что великий князь едет охотиться по берегам Почайны; я оседлал моего коня и, пристав к охотникам, которых отправили вперед, выехал из Киева. Не прошло и часа времени, как великий князь прислал на сборное место сказать старшему ловчему, что он сам на охоту не поедет. Вот все мы разъехались в разные стороны: кто остался в лесу потешиться ловлею, кто отправился назад в Киев; а я, сам не знаю для чего, дал волю моему коню везти меня, куда он хочет, и заехал наконец в такую глушь, что, как очнулся да посмотрел вокруг себя, так волосы стали дыбом: ни следу, ни тропинки – кочки да трясина, овраг на овраге; и такая дичь, что свету белого не видно! Кое-как, то на коне, то ведя его в поводу, я выбрался на обширную луговину, окруженную дремучим лесом. Мне показалось, что сквозь густую зелень трех или четырех берез, как будто нарочно посаженных на самой середине поляны, мелькало что-то белое. Вот я слез с коня, привязал его к дереву и потихоньку подошел к березам. Под навесом их развесистых ветвей я увидел небольшое возвышение, похожее на могилу, а над ним грубо обделанный четверугольный столбик, перерезанный поперек почти одинакой с ним величины деревянным брусом. Подле этого простого памятника, спиною ко мне, стояла на коленях, по-видимому, молодая девушка, в белом платье с распущенными по плечам волосами; у ног ее лежало голубое покрывало. Я притаил дыхание; скрываясь за деревьями, зашел неприметно с другой стороны и пораздвинул бережно густые ветви. Молодая дева, склоняясь главою к могильному памятнику, усердно молилась... Да, мой друг, она молилась, но только не нашему богу; она называла его Творцом вселенной, Прибежищем несчастных, Искупителем. Светло-русые волосы, опускаясь до самой земли, скрывали от меня лицо ее, и от времени до времени тихие рыдания прерывали ее слова. Я стоял неподвижно, как истукан. Вдруг дева приподняла голову, отбросила назад густые свои локоны... Ах, Стемид, что случилось тогда со мною!.. Ты знаешь, что из всех юных дев киевских ни одна не казалась мне прекрасною, а эта незнакомка!.. Но как описать тебе то неизъяснимое чувство любви, которое, как быстрый пламень, пролилось, закипело в моих жилах! Это девственное, прелестное чело, эти очи, исполненные любви и кроткого блаженства!.. О, никогда еще мой взор не встречал столь дивной красоты! Какой-то тайный голос прошептал мне: вот подруга, назначенная тебе самими небесами, вот та, которая просветит твой разум! Я невольно сделал шаг вперед. Услышав шорох, она обернулась, вздрогнула, внезапный ужас изобразился на лице ее, и, прежде чем я повторил мой вопрос, она, как быстрая серна, исчезла из глаз моих. Долго я не мог опомниться. Вдруг взоры мои остановились на голубом покрывале: испуганная моим нечаянным появлением, дева забыла его на траве подле самой могилы. Вот оно! – продолжал Всеслав, вынимая из-за пазухи голубую шелковую фату. – Я никогда с ним не расстаюсь.

– Ого, – сказал Стемид, рассматривая покрывало, – да оно из греческой камки!<sup>52</sup> Я видал такие же точно у гостей византийских.

– С тех пор, – продолжал Всеслав, – я каждое утро езжу по лесу, ищу эту безвестную деву, зову ее, – все напрасно: никто не откликается на мой голос. Часто, обманутый отголоском, я спешу в ту сторону, где повторяются слова мои, – не нахожу никого, и мне кажется иногда, что вдали как будто бы раздается насмешливый хохот.

– Уж не потешается ли над тобой какая-нибудь русалка? – прервал Стемид. – Правда, рассказывают, что у этих проказниц волосы зеленые, а ты говорил о светло-русых локонах.

---

<sup>52</sup> Камка – шелковая ткань.

Да и зачем носить русалке покрывало из византийской ткани? Это должна быть какая-нибудь молодая киевлянка... Но как она зашла одна в этот дремучий лес? Послушай, Всеслав, бывал ли ты после на этой поляне, где увидел ее в первый раз?

– Каждое утро. Там только я нахожу какую-то отраду моим мучениям. Когда, после тщетных поисков, душа моя наполняется неизъяснимою тоскою, я спешу на эту поляну и на том же самом месте, где увидел ее в первый раз, точно также, как она, преклоняю колена и начинаю молиться не богам нашим, но неведомому богу, которому она молилась, тому, кого она называла Искупителем. Не знаю, доступны ли до него мольбы мои, но всякий раз скорбь моя мало-помалу утихает, и я с новою надеждою возвращаюсь домой. Теперь ты знаешь все, Стемид!.. Оставь меня.

– Власть твоя, Всеслав, – сказал Стемид, покачивая головою, – а тут замешалась нечистая сила. Что за радость таскаться каждое утро по болотам и дебрям для того, чтоб отыскать какую-то лесную девушку, которую ты путем и рассмотреть не успел? Добро, добро, прощай покамест! Я вижу, тебя так и подмывает. Ступай, шатайся по лесу! Да послушай: не равно набредешь как-нибудь на берлогу медведя, так не вздумай с ним одним схватиться, а скажи мне – вдвоем-то мы лучше повеселимся.

Оба молодые люди сели на коней: Стемид поворотил назад к Киеву, а Всеслав поехал вперед, придерживаясь левого берега Почайны.

## VI

Доехав до того места, где речка, осеняемая с обеих сторон густыми липами, текла по каменистому дну глубокого оврага, Всеслав поворотил налево в самую середину леса. Борзый конь его с трудом продирался сквозь частый кустарник: на каждом шагу заслоняли ему дорогу то кудрявый ветвистый дуб, то развесистая береза; в одном месте душистая черемуха, склонясь сводом над дорогою, заставляла всадника нагибаться до седельной луки; в другом – кусты пестрой жимолости, переплетаясь меж собою, застилали тропинку и принуждали его сворачивать в сторону. Вскоре едва заметный след, по коему он ехал, исчез совершенно. Всеслав приостановил коня, поглядел внимательно кругом и, заметив вдали между частым лесом огромную вековую сосну, поворотил в ту сторону; но едва конь его сделал несколько шагов, как начал чутко озираться во все стороны, приподнял уши, захрапел и шархнул. Всеслав, схватясь за рукоятку своего меча, кинул вокруг себя зоркий взгляд, и вдруг ему показалось, что сквозь частые ветви выглядывает уродливое лицо прохожего, который так скоро исчез при появлении Стемида.

– Эй ты, товарищ! – закричал он. – Добрый человек, послушай!

Но вместо ответа вблизи раздался шорох; потом, через минуту, вдали захрустел сухой валежник, и все утихло. Подождав несколько времени, Всеслав пустился далее, проехал мимо высокой сосны и достиг наконец опушки леса, который в этом месте окружал обширную поляну.

На самой середине этой поляны, под тенью нескольких берез, возвышалась, покрытая зеленым дерном, могила; над нею стоял деревянный крест, а подле него – молодая девушка в белом платье, похожем на греческий тюник. Тихий утренний ветерок играл цветным ее покрывалом; небрежно закинутое назад, оно то застилало ее длинные русые волосы, то обвивалось вокруг гибкого стана. Сложив крест-накрест руки, она смотрела задумчиво на могилу; крупные слезы капали из полуоткрытых глаз ее, но прелестное лицо девы было спокойно; на ее светлом челе изображалось какое-то тихое уныние, но эта кроткая печаль не походила на наше буйное земное горе.

Услышав позади себя тихий шорох, она торопливо обернулась: подле нее стоял Всеслав.

– О, не убегай, побудь со мною! – прошептал он едва внятным голосом, простирая к ней свои руки.

Девушка, которая отбежала уже несколько шагов, остановилась и устремила свой робкий и недоверчивый взгляд на трепещущего юношу.

– Чего ты боишься? – продолжал Всеслав умоляющим голосом. – И тебе-то бояться того, кто любит тебя более своей жизни!

Удивление и страх изобразились на прекрасном лице незнакомки. Она сделала Всеславу знак не подходить ближе и продолжала смотреть на него молча.

– Ах, вымолви хотя одно слово! – сказал тихо Всеслав. – Я уже слышал однажды твой голос, но ты говорила не со мною.

– Кто ты? – спросила наконец девушка. – Я тебя не знаю.

– Я Всеслав! – отвечал юноша, сделав шаг вперед.

Девушка вскрикнула от ужаса и пустилась бежать.

– Пстой! – сказал с отчаянием юноша. – Пстой, возьми хотя назад свое покрывало.

Незнакомка оглянулась и, увидев в руках Всеслава свое голубое покрывало, вскричала с детскою радостью:

– Так, это оно! Спасибо, добрый человек! Положи его здесь на траву.

– Но разве ты не можешь его взять из моих рук? – сказал Всеслав, сделав несколько шагов вперед.

– Из твоих рук! – повторила незнакомка с робостью. – Ты, кажется, незлой человек, – прибавила она, помолчав несколько времени, – но речи твои так чудны... Я боюсь тебя.

– Меня?.. О, если б ты знала, как я люблю тебя, то, верно бы, не стала бояться. Сколько раз я приходил на эту поляну для того, чтобы взглянуть на то место, на котором ты стояла, и молиться тому, кому ты молилась.

– Так ты не язычник? Ах, как я рада!.. Подойди, подойди – теперь я не боюсь тебя!

Всеслав подошел к девушке.

– Вот твое покрывало! – сказал он. – Но если я вижу тебя в последний раз, то не откажи мне: оставь его у меня.

– У тебя?.. На что тебе мое покрывало? – спросила с улыбкою незнакомка. – Разве ты девушка?

– Я не расстался бы с ним во всю жизнь мою: оно прикасалось к тебе, ты носила его.

– Да, и я очень плакала, когда его потеряла; мне подарила его матушка.

– А ты живешь вместе с матерью?

– Нет еще, – отвечала девушка, покачав печально головою.

– Так вы живете розно? Где же она?

– Вот здесь! – шепнула тихо незнакомка, указывая на могилу.

– Так она похоронена здесь? И ты, верно, приходишь сюда молиться ее праху?

– О, нет, я молюсь не ей, а за нее.

– Какому же ты молишься богу?

– Какому? Разве он не один?

– И ты знаешь его?

– А как же?

– Не его ли ты называла Искупителем?

– Да.

– Но кто же он?

– На небесах Он – Бог наш, а на земле был сыном Той, которую называют Пресвятою.

– А как зовут тебя?

– Я девушка, дочь Алексея, который живет в этом лесу; меня зовут Надеждою.

– Надеждою! – прервал с удивлением Всеслав.

– Имена моих сестер еще лучше, – сказала с простодушною улыбкою девушка, – их зовут Верой и Любовью.

– Надежда, Вера и Любовь! – повторил Всеслав, покачивая недоверчиво головою. – Ах, счастлив тот, кто заключает их в душе своей! Но разве это имена?.. Я вижу, – прибавил он печальным голосом, – ты издеваешься надо мною.

– О, нет, нам дали эти имена в Византии. Прежде мы не так назывались: меня звали Всемилою, а сестер моих Премиславою и Светланю; но эти имена языческие: ими грешно называться.

– Твоего отца зовут Алексеем; но кто он такой?

Этот вопрос смутил приметным образом девушку. Помолчав несколько времени, она отвечала:

– Он был прежде воином, а теперь кормится работою.

– Но для чего он живет в этом дремучем лесу?

– Он рубит дрова и продает их киевским жителям.

– И ты живешь с ним в этой пустыне? Тебе, должно быть, очень скучно?

– Да, зимою мне бывает скучно: кругом нас воют волки, режут медведи, и на меня иногда находит такой страх, что я во всю ночь заснуть не могу; но в земле печенежской мне было еще скучнее. Вот когда мы жили в Византии, там нам было весело. Там остались мои старшие сестры. Когда они вышли замуж, то отец мой приехал сюда со мною и с матушкою; она все тосковала, прошлого года умерла, и теперь я живу с ним одна-одинехонька, – промолвила Надежда, бросив грустный взгляд на могилу.

– Но неужели ты никогда не бываешь в Киеве? – спросил Всеслав.

– Иногда, по ночам, я вместе с батюшкою хожу туда молиться.

– Но по ночам все храмы бывают закрыты.

– О, наш храм запереть не можно, – сказала с улыбкою девушка, – в нем нет ни окон, ни дверей. Да что ты меня об этом расспрашиваешь? Если ты не язычник, то, верно, приходил и сам туда молиться?

– Да где же это? – спросил с удивлением Всеслав.

– На высоком берегу Днепра, подле Аскольдовой могилы.

Всеслав отступил с ужасом назад.

– Как? – вскричал он. – Ты говоришь о развалинах этого христианского храма?

– Да. Батюшка сказывал мне, что это была святая церковь во имя чудотворца Николая. Злой Святослав разорил ее, но благодать Божия живет и среди ее развалин... Да что с тобой сделалось? Отчего ты так побледнел?

– Прощай! – прошептал глухим голосом Всеслав. – Мы больше никогда с тобой не увидимся.

– Так ты уже не хочешь приходить молиться на могиле моей матери? – сказала Надежда, потупив в землю свои кроткие голубые глаза.

– Нет! – вскричал с отчаянием юноша. – Я люблю тебя, а я не могу и не должен тебя любить: ты христианка!

– Так что ж: мы должны любить и врагов своих, а что я тебе сделала?.. Я вижу теперь, что ты язычник, и мне это очень жаль, но я не стану тебя за это ненавидеть.

– Бедная девушка!.. Если б ты знала, кому ты поклоняешься!

– Я это знаю.

– А знаешь ли ты, о чем молят все христиане того, кого они называют своим Искупителем?

– И это знаю; я не раз слышала, как отец мой, преклонив колена, молил его, чтоб Владимир, великий князь Киевский...

– О, не договаривай!.. Итак, Богомил не обманул меня... Прощай!..

Отходя несколько шагов, Всеслав не мог удержаться, чтоб не взглянуть украдкой назад: девушка стояла на прежнем месте, и робкие ее взоры следовали за уходящим юношей. Заметив это невольное движение, она с живостью сделала шаг вперед, вдруг остановилась и, перебирая в руках своих голубое покрывало, сказала вполголоса:

– Прощай, Всеслав!

Кто любил, тот поймет все отчаяние несчастного юноши. Он слышал в первый раз имя свое в устах той, чей образ сливался со всеми его надеждами. Он встретил ее и должен был навсегда с нею расстаться!.. Эта грусть, начертанная в голубых глазах ее, этот девственный, исполненный уныния голос проник до глубины его сердца. Ах, какие очаровательные, неземные звуки сравнятся с голосом той, которую мы любим! Какой смертный приговор ужаснее последнего «прости» для того, кто, расставаясь навеки с нею, не может в то же время расстаться и с своею жизнью!

– Прости, Всеслав! – повторила девушка еще печальнее; в глазах ее изобразилась какая-то нерешимость, казалось, она желала и боялась что-то сказать... – Но ты забыл, – промолвила она наконец тихим голосом, – возьми же назад мое покрывало.

– Твое покрывало?

– Да! – продолжала девушка, потупив глаза. – Ведь мы уже больше никогда с тобой не увидимся.

– Как, ты отдаешь мне добровольно это покрывало – наследие твоей покойной матери?

– Я и сама не знаю, для чего это делаю; я видела тебя сегодня в первый раз, а мне не хочется, чтоб ты скоро забыл меня.

– Ах, Надежда! – вскричал с горестью Всеслав, подходя к девушке. – Зачем ты христианка, зачем ты молишься злему Чернобогу?..

– Кому? – спросила с удивлением девушка.

– Ты называешь его другим именем, но это все равно. Мать великого князя была моею второю матерью, он воспитал меня, и я должен ненавидеть его врагов.

– Но кто сказал тебе...?

– О, я знаю это!.. Отец его разорял ваши храмы, он сам презирает веру христианскую, так вы должны его ненавидеть. Но, может быть, ты не разделяешь злобные умыслы твоих единоверцев... Да, да, Надежда, когда они в молитвах своих упоминают имя Владимира, ты не присоединяешь невинные мольбы твои к их преступным мольбам!

– Нет, я говорю также вместе с другими: «Господи, продли дни Владимира, умягчи сердце его и просвети душу светом истинной, Твоей веры!»

– Возможно ли? – вскричал Всеслав. – Вы не клянете, а благословляете имя великого князя?

– А как же? Ведь он наш государь.

– И вы не просите вашего бога сгубить Владимира?

– Сгубить Владимира? Да разве можно его просить об этом?.. Наш Бог спасает людей, а губит их враг божий – дьявол, – да за то-то мы и должны его ненавидеть.

– Но что ж делаете вы, когда собираетесь по ночам на развалинах вашего храма?

– Мы поем славу Божью, молимся Искупителю, величаем мать его, Пресвятую и Пречистую Деву.

– И вы ничего другого не делаете?.. Вы не упиваетесь кровью невинных младенцев?

– Ах, что ты говоришь, Всеслав! – прервала с ужасом девушка. – Да простит Господь Бог твое прегрешение! Разве мы дикие звери?

– Итак, все, что я слышал об ужасных обрядах веры вашей, несправедливо? – вскричал Всеслав. – О, как облегчила ты мое сердце! Я могу любить тебя, не оскорбляя моей совести, могу назвать отца твоего моим отцом и благословлять вместе с ним имя Владимира!

– Как, – вскричала с радостью Надежда, – ты хочешь назвать батюшку отцом своим? Так ты желаешь сделаться христианином?

– Христианином?.. – повторил с невольным содроганием Всеслав.

– А как же? Все христиане называют его отцом своим. Ведь батюшка мой, – прибавила она вполголоса, – иерей.

– Иерей?

– Да, да! Он рукоположен в Византии, и если ты хочешь назвать его отцом, то должен сделаться христианином.

– Нет, Надежда, я не хочу тебя обманывать, – сказал Всеслав, – если все неправда, что рассказывали мне о христианах, то и тогда я не могу быть твоим единоверцем! Сколько раз я слышал от Рохдая, Светорада, от мудрого Добрыни, от всех витязей княжеских, что вера христианская не может быть верою храбрых воинов; что Ольгу как слабую жену могли обольстить в Византии, но что сын ее, неустрашимый Святослав, ненавидел христиан, а внук, наш Владимир великий князь, презирает их.

– Итак, ты хочешь остаться язычником? – сказала печально девушка.

– Да знаю ли я сам, чего хочу! – вскричал с горестью Всеслав. – Мне противно служение богам нашим, я горю желанием узнать истинного бога, но чему должен я верить?.. Когда в первый раз я увидел тебя на могиле твоей матери... ты молилась, Надежда... Тогда, о, тогда как будто бы густое облако спало с очей моих! «Вот она!» – раздался в душе моей тайный, могучий голос. «Вот та, о которой тосковало твое земное сердце! Молись вместе с нею, и ты узнаешь того, о ком тоскует бессмертная душа твоя!» Но ты скрылась от глаз моих, и вместе с тобою исчезло все; тот же непроницаемый мрак охватил снова и обдал хладом мою душу. Ах, я походил на горького слепца, который прозрел на одно мгновение, увидел свои родные поля, усеянные цветами; взглянул на широкий Днепр, на ясное солнышко, на всю красу и славу поднебесную – и снова погрузился в вечный мрак. Сегодня ты не убегала меня, твой ласковый взгляд, твои приветливые речи – все, даже твое имя, наполнило мою душу каким-то радостным ожиданием. «Она просветит мой разум, – думал я. – Ее Бог будет моим Богом...» Но ты христианка, – прибавил Всеслав, покачав печально головою, – ты служишь Богу, коему поклоняются коварные византийцы... Нет, нет! Рохдай говорит правду: не пристало честным и храбрым витязям перенимать закон и обычаи иноземных торгашей. Да, Надежда, не может статься, чтоб вера, которой вас учили эти хитрые, женоподобные греки, была истинною верою.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.